

# Григорий Бакланов. Пядь земли

Повесть

*Моей матери*

*Иде Григорьевне Кантор*

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!

*Юлиус Фучик*

## ГЛАВА I

Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щелей и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мирному пахнут травы.

Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были сиповатые, мелкие, а здесь они неяркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?

Луна еще не всходила. Она теперь исходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас все освещается: и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром.

Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую баранину и во флягах - холодное, темное, как чернила, молдавское вино. Хлеб, чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку:

- Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут - чем лошадей кормят!..

Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться: небо, горло, язык - все жжет огнем. Это готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не признает кушаний без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами: "Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек - как можно без перца? Барашек любит перец".

Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, по-восточному поджав под себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный - почти невыносимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось: кто пришел в армию худой - поправится, пришел полный - похудеет. Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его "батано Парцвания": мало кто знает, что в переводе с грузинского "батано" означает господин.

До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Поти или Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь,

взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и тарашит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как Парцвания опять уже спит.

Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя: обидишь. Так же приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного права на Парцванию.

Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его "Детка" и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног.

Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды?

У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко.

Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время.

- Долго не идут, черти,- говорит он своим тягучим голосом.- Жрать хочется, аж тошнит! - И Саенко сплевывает в пыльную траву.

Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет

все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и Парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпающемся песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там - безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов.

В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего "андрюши", длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь начал ржаветь и зарастать травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело.

В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках, и потому укутывает корчажки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.

Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем, и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света...

Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги, и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низконизко пронесется над их головами. С земли нам это хорошо видно.

Саенко опять ложится на спину.

- Пехота...

Позавчера это самое место днем, на "виллисе" пытался проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить "виллис" днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишени, всаживая очередь за очередью, пока не подожгли наконец. Мы после гадали: пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют?

Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу, что он идет один и в руке несет что-то странное. Подходит ближе. Унылое лицо, в правой руке на веревке - горлышко глиняной корчажки.

Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках - единственное, что уцелело от корчажки. Разведчики тоже молчат.

Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и по дыму бьет.

- Какой дурак придумал носить мясо в корчажках? - спрашиваю я.

Панченко смотрит на меня укоризненно:

- Парцвания велел, чего ж вы ругаетесь? Он говорил, в глиняной посуде не так остывает. Еще одеялами их укутывал...

- А где он сам?

- Убило Парцванию...

Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожеывая травинку.

Оттого что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит голову. Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтоб - не дай бог! - в них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.

- Тебя не ранило? - спрашиваю я Панченко. Тот обрадованно пододвигается к нам.

- Вот! - показывает он штанину, у кармана навывлет пробитую осколком, и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. - Чуть было не забыл совсем.

Мы крошим в ладонях сухие, невесомые листья, стараясь не просыпать табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь Парцвании.

- Где вас накрыло? - спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.

- В лесу. Как раз где снаряд "андрюши" лежит. Вот так мы шли, вот так он лежит.- Панченко чертит все это на земле.- Вот здесь мина упала. А Парцвания как раз с той стороны шел.

Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.

Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону.

Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что

вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрыть нельзя, иначе снарядам может обрушить щель.

Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно, до войны люди страдали бессонницей, жаловались: "Целую ночь не мог уснуть: у нас под полом скребется мышь". А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины.

Я лежу сейчас и думаю о Парцвани, о хлебе, на котором осталась его кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей, гордый: это была его инициатива.

Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление.

Васин спит, посапывая. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом кармане, а мы лежим на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая ракета, я вижу заросшую шею Васина и маленькое покрасневшее во сне ухо. Странно, у меня к нему почему-то почти отцовское чувство.

## **ГЛАВА II**

Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами, они пустынные, будто вымершие. Там - немецкий передний край.

Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в

рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.

Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет - сухие вспышки его почти не видны против солнца, - и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе.

Позади нас за лесом - Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться - напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников, наливающихся теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.

Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменялась бы вся жизнь. Васин тем временем готовит завтрак. Взрезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим.

Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где никакой опасности - перебегают, прячутся от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю - вот она, смерть! А где все живое носа не высунет - ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не



выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.

- Мало их, дураков, учит! - злится Васин.

Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре, оглядываются: не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них - метров тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.

- Эй, кумовья, бегом! - не выдержав, кричит Васин.

Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь к нам. Васин даже высунулся:

- Бегом, мать вашу!..

Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над нами проносит дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!

- Вот сволочь! - говорю я.

Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя сальный след. Берегли... Ели не спеша...

- Таких убивать надо! - Васин зло швырнул банку.- Воевать не умеют, только других демаскируют.

И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно, ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь целый, а ниже - черное и кровь, и ботинки с обмотками. на белом расщепленном

прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле стала короткая, вся рядом с ним.

Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он ползет в другую сторону.

- Пропадет, дурак,- быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился ползти за раненым.

Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле.

И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух.

От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный телефонный аппарат, что-то чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку - отрастил чуб под моей мягкой рукой.

Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно; на чистом лбу его обозначается одна-единственная морщина между бровей. И когда анекдот кончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить к жизни.

- Ты кем был до войны, Васин?

- Я? - переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками.- Жестянщик.

Потом подносит к лицу ладони, нюхает их:

- Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жутью пахли.

И улыбается грустно и умудренно: война. Обдирая зубами изоляцию с провода, говорит:

- Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно.

Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левей. Это она была с вечера. Шарю, шарю стереотрубой - ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями - все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только б уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор - до гребня.

Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи, закаменела и растрескалась. Не только мина - легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки: так солнце прокалило ее.

Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем, насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю - не так-то просто вырвать его отсюда.

Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, а они здесь, мы бы уже искупали их.

Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми камнями, проступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты.

Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его - как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то.

С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.

Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще попытаются.

Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, они тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно погибнуть в последние месяцы.

В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились наконец союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и

здесь что-то начнется.

Васин кончил чинить аппарат, любуется своей работой. В окопе - косое солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.

- Давайте подежурю, товарищ лейтенант.

- Обожди...

Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.

Опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок. Роят! Какой-то немец роет средь бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая мышиная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.

- Вызывай Второго!

- Стрелять будем? - оживляется Васин и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает.

Второй - это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос по-утреннему хриловатый. И - строг. Спал, наверное. Окна завешены одеялами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в комнате, мух ординарец выгнал - можно спать в жару. А снарядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость:

- Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!

Скажи просто: "Обнаружил наблюдателя",- наверняка не разрешит стрелять.

- Откуда знаешь, что это - артиллерийский НП? - сомневается Яценко. И тон уже мрачный, раздраженный оттого, что надо принимать какое-то решение.

- Засек стереотрубу по блеску стекол! - вру я честным голосом. А может быть, я и не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.

- Значит НП, говоришь?

Яценко колеблется.

Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь, в самом деле! Сидишь на плацдарме - голову высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец меня обнаружил, он бы не стал спрашивать разрешения. Этой ночью уже прислали б сюда другого командира взвода.

- Три снарядика, товарищ Второй,- спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент.

- Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? - злится вдруг Яценко.

И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает, но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если придется стрелять. С ним всегда так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на больную мозоль.

- Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив! - оправдываюсь я поспешно. Это хитрость, непонятная человеку штатскому. Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: "комдив", хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом - в лучшем случае майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно: "Товарищ комдив". И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положены ни звания, ни должности - есть только позывные.

- Тебе что, мой позывной неизвестен? - обрывает Яценко. Но слышно по голосу - доволен. Это - главное.

Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться - даст.

- А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограммов,- ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?

Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло в "пересчете на рубли",

Яценко уже не сдвинешь.

Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет.

- Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь мне с разведчиком. И наблюдай за ним, Мотовилов, наблюдай! Молодец, что засек.

Хочется выругаться. Страшно мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему. Это все равно что убить его мысленно. А он вот пока что роет.

- Я знал, что комдив снарядов не даст,- говорит Васин, когда я возвращаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось... Тоже мне ясновидящий!

- Ты лучше сапоги надень! - срываю я на нем зло.- И ноги подбери. Расселся, как на пляже.

А немец теперь обнаглел окончательно. Роет на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Я стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, пить противно, и еще Васин с аппаратом расселся так, что повернуться невозможно. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами.

Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно. Но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В шестидесяти метрах от нас - кукуруза, там - НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами. И командир взвода там - Никольский - мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет. Главное - перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать об этом.

Удивительно голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся: упадешь - и весь виден. Но сидеть так целый день: смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит.

От немцев нас загораживает гребень кювета. Можно хоть изготавиться

скрытно. Затягиваю туже ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею.

- Будут спрашивать - отдувайся за обоих.

- А если комдив будет ругаться?

Васин очень не любит, когда начальство ругается. Прямо-таки грустнеет на глазах.

- Вот ты и скажешь комдиву, чтоб в следующий раз снаряды давал.

Васин моргает жалобно: мне, мол, хорошо говорить, а отдуваться ему.

Невозможно смотреть на него без смеха.

- Не бойся, комдив сюда не придет.

Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди - воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле.

Пиу!.. Пиу!..

Чив, чив, чив!..

Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки - так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая.

Чив, чив, чив!..

Только б не в голову. Всей кожей головы чувствую, как могут попасть.

Пиу!.. Пиу!.. Пиу!..

Это уже свистят поверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажмуриваюсь от вспышки. Вон он откуда бьет! На переднем скате высоты - крошечный холмик, яблоня и в круглой тени ее - окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться. Лучше не видеть, как по тебе стреляют.

Впереди меня, у края воронки, каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев.



Фьють! - падает шляпка.

Фьють! - падает стебель, перебитый у основания.

Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. С земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчики, чтоб из кукурузы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его. Если он не попадет в меня и я добегу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении: против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик - то же, что я, безоружный сейчас, против него. Я лежу под его пулями распростертый и из суеверного чувства стараюсь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добегу до кукурузы.

Последняя очередь проносится надо мной. Тишина... Только теперь чувствую, как устали все время сжимавшиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Край бинокля врезался в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль.

На сколько у пулеметчика хватит терпения? Минут десять будет караулить, потом устанут глаза. Главное, чтоб немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. Изорвало голенища сапог, а когда я вскочил и побежал, хромя, обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва ударившись о землю; осколки ее сбивают даже траву.

Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль: врезался в кость, терпения нет никакого. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время.

Наверно, прошло уже десять минут. Больше я не могу, во всяком случае. Вскрываю и бегу. Бинокль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удается поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит вдогонку.

Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинокль меж стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувший высоты,- все это прорезают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Их двое, оказывается. За реденьким частоколом натыканного в бруствер бурого конского щавеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду.

По кукурузе близко от меня пробегает, пригнувшись, боец, ладонью прижимая к груди медали. Кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, вбитых в стену, мокрые тряпки: платки, подворотнички. И радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение:

- Это по вас стреляли, товарищ лейтенант?

Все это время, пока я лежал, мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом и бомбовой воронке стирал, сидя на корточках, и прислушивался: по ком это? Никто даже огня не открыл. Вот черти!..

- Лейтенант где?

- Болеет лейтенант. В той щели лежит.

Никольский лежит на земле, с головой укрытый шинелью. Дрожит так, что под сукном видно. Я долго тормошу его на плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Расширенным зрачкам его даже в сумраке перекрытой щели больно от света, он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные и ногти синие.

- Никольский! - говорю я, вглядываясь в его горячечно-блестящие, влажные глаза, и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, понимает ли он меня вполне.

- Не кури,- просит он, рукой отгоняя дым от лица,- тошнит от запаха.

И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла.

- Как в погребке здесь.

Лицо у него желтое, губы от жара растрескались до крови, зрачки точно

смолой налиты. Малярия.

- Саша! - Я притягиваю его к себе и чувствую лицом его горячее, резкое дыхание.- Пулемет обнаружил, слышишь меня? Обоих пулеметчиков видно. Не накроем - уйдут, сволочи!

Я вижу, понять меня стоит ему усилия. Он даже поморщился, оттого что больно подымать глаза.

- С глазами что-то делается,- признался он,- то лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я.

- Я буду стрелять!

- У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного,- внезапно поддерживает меня ординарец.

- А ну соединишь с комбатом! - уже приказываю я телефонисту.

Все на НП сразу приходит в движение. Я иду по траншее, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу: что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому, что мы всегда экономим снаряды. По нас бьют, а мы экономим. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом: перелет? недолет? вот он, твой, кажется! И вжимаешься в стенку, и вить хочется от бессильной злобы...

Я сажусь к стереотрубе, прилаживаю ее по глазам. Вон они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. Только б не спугнуть. И вдруг замечаю, что и команду передаю тихо, словно они могут услышать.

- Цель номер два! - звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист.- Правее ноль двенадцать!..

Над головою шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе на животах, ждут первого разрыва. Я медлю: сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва, а мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтоб сразу перейти на поражение, пока они не сообразили, что к чему. Первый дал перелет.

Я командую:

- Взрыватель фугасный!

Позади пулемета овражек. Плоский осколочный разрыв не будет виден, фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет:

- Взрыватель фугасный!

Он привык, что фугасными снарядами бьют только по укреплениям: по дотам, по дзотам, а здесь - окоп.

И вдруг вся эта продуманная комбинация рушится. Пулемет внезапно начинает строчить - я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони,- а сверху, над головой у меня, раздаются какие-то крики.

- Огонь!

Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязный ватный разрыв встает позади.

Сверху опять кричат:

-- Левей, левей ползи!

Кому они кричат?

-- Огонь!

Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно приподнимаются. И тут я замечаю на поле ползущего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой - телефонный аппарат. Васин! Ползет сюда. Это ему кричат. И я тоже кричу диким голосом:

- Лежать! Лежать, мерзавец!

Услышал. Замер. Обеими руками глубже натянул пилотку на голову. Опять пополз. И сейчас же - та-та-та-та-та!

- Огонь!

Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Вцепился в Васина, не отпускает живым. Больше я не смотрю туда - иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит? Страшная это тишина.

- Батарее четыре снаряда беглый огонь.

Грохот, кипящий дым над окопом, и в нем,- мгновенные вспышки огня. Даже

здесь все трясется, со стен ручьями течет песок. И сразу все обрывается.

Тишина давит на уши. Когда ветром относит дым, вижу срубленную яблоню, сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет. И окоп почти целый. Он теперь не в тени, на ярком солнце, тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым.

Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Пыльный, потный, запыхавшийся - живой! Черт окаанный! У меня до сих пор из-за него дрожат колени.

Васин быстро подключает телефонный аппарат.

- Ругались!.. Одна нога здесь, другая - там, чтоб найти вас...

Я сижу на снарядном ящике у стереотрубы, смотрю на него сверху. На его шею, красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилившей крови уши, оттопыренные, как у мальчишки. Молодой, здоровый, горячий, весь полный жизни. Если б одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас... Кажется, пора бы уже привыкнуть. Но как подумаешь, невозможно ни привыкнуть, ни понять это.

Васин снизу подает мне трубку. В ней - голос начальника артснабжения полка Клепикова.

- Мотовилов? У тебя какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу...

Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознание важности состоявшегося наконец разговора. Он ждет. Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной, телефонный аппарат к другой ноге. Я молчу.

- Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?

Когда он волнуется, он с этим "понимаешь" как заика. Он очень обидчив,

Клепиков. Он - капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку.

- Я специально приехал, понимаешь, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружия произвожу!..

Я не могу даже обругать его, потому что рядом - Васин. Для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат,- у меня это еще перед глазами, как он полз и как стреляли по нему.

- А ну отойди отсюда! - приказываю я Васину.

Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться, что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами Днестр. И голос у него жалкий. И мне вдруг становится жаль его. Не надо было его оскорблять, тем более что он все равно не поймет. Чтобы понять, ему надо побыть здесь, но здесь он никогда не бывал и не будет: на войне всегда между нами Днестр. И говорим мы с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне и чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне. А в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность для них есть. И в жизни, наверное, без них не обойтись.

Не знаю, тут есть что-то несовместимое, что совершенно понять нельзя. И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний, война для нас настолько различна, словно это две разных войны. У меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с

полуслова, и чувствуем многое одинаково.

Я уже не сержусь на Клепикова. Я действительно на него не сержусь. Я отвечаю на его вопросы. У меня не отечественный пистолет - трофейный парабеллум.

Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он - незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное, он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я доставляю ему это удовольствие: терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в инвентаризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Очень логично. Но что-то надо сказать Васину. Не мог же он зря проделать весь этот путь. И я благодарю его. Пять минут назад, когда он полз под огнем, я не знаю, что мог бы с ним сделать. Сейчас я его благодарю.

- Но если еще раз так полезешь, не немцев бойся, а меня.

Васин доволен.

До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков, я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея.

С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз, в прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча.

- Начальству привет!

Бабин только глянул и продолжает лежа думать над шахматной доской, подперев ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая, вытянутая нога в носке. Про него говорят: "Это тот комбат, который лежа воюет". Даже те, кто не знают его по фамилии, в лицо ни разу не видели, про такого комбата слышали. Бабина ранило в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он и воюет лежа, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, был тут сначала военфельдшер - отчаянная девка, она и ухаживала за ним.

При желтом огне свечи руки, шея, лицо Бабина кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, жесткие щеки давно уже бреющегося человека.

Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок - как она у него там держится, непонятно,- горбоносый командир второй роты Маклецов негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет:  
"Прощайте, скалистые горы..."

Песни комбат любит морские: до войны он плавал на Севере капитаном, рыбацкого сейнера.

Я сажусь рядом с Маклецовым, достаю портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стопятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям - это все равно что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают.

Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого, щуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства.

- Где-то тут я что-то просмотрел... - неуверенно говорит Бабин.

Мне он нравится. Спокойный, упорный мужик. Но на человека, хорошо играющего в шахматы, способен смотреть как на бога.

Бабин ложится на спину, берет со стола свечу в плошке, прикуривая, вытягивает весь огонек в трубку.

- Из-за чего война была? - спрашивает он, отнеся огонь от лица.

- Пулемет уничтожили,- говорю я так, словно каждый день уничтожаю по пулемету.- Двух пулеметчиков ухлопали.

Глаза Бабина веселеют сквозь дым.

- Ну, все. Скоро война кончится.

Он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом.

- Покажи.

Я показываю, где стоял пулемет.



- Рядом с яблоней? - радуется он, что зрительно помнит местность.- Так и надо дуракам: не лезь под ориентир.

Он прячет планшетку.

- А ну, расставляй еще!

- Так что ж, товарищ капитан, опять сердиться будете,- предупреждает телефонист, заранее снимая с себя всякую ответственность.

- Расставляй, расставляй! - Бабин уже сердится. Телефонист пожимает одним плечом: "Что ж, я лицо подчиненное",- и расставляет фигуры и себе и комбату.

Они успевают сделать первые ходы, когда начинается бомбежка. Бабин со стола берет трубку в рот - трубку эту он завел с тех пор, как начал воевать лежа,- думает над ходом, подперев лоб пальцами. Наверху - тяжелые удары. Подпрыгивает на столе огонек, словно хочет оторваться от свечи. Пыль, как дым, подымается из углов, наполняет воздух. Грохот давит на уши, голова становится мутной.

Откуда-то сверху скатывается связной, козыряет у дверей, вытянувшись. Он весь обсыпан землей, глаза вытаращены.

- Товарищ комбат, прислан для связи командиром третьей роты! На участке нашей роты банбит - солнца не видать!

Из-за частокола пешек Бабин осторожно вытянул коня, держа на весу, сказал:

- Возьми карандаш на столе, возьми бумагу, напиши слово "бомбит".

Связной нерешительно двинулся к столу, взял карандаш отвыкшими пальцами. На бумагу с треском посыпалась земля сверху. Он уважительно смел ее ладонью... "Ты стоя-ала в белом пла-атье,- наигрывал Маклецов, заглядывая через плечо связного,- и платком махала..." Осторожно положил гитару на сено, вышел из землянки: до своего НП ему бежать недалеко, метров сорок.

У связного на первой же букве ломается карандаш.

- Дайте ему нож карандаш очинить,- говорит Бабин, не отрываясь от

доски.

От взрывов приходят в движение бревна наката над головой. Они скрипят, трутся друг о друга, и все это сооружение начинает казаться непрочным. С потолка вниз по стене стремглав проносится мышь.

Связной старательно выводит букву за буквой, согнувшись над столом, то и дело дуя на бумагу. Бабин негромко переговаривается по телефону с командирами рот. "Кульчицкий, у тебя как?.." Даже мне на других нарах слышно, кик кричит в трубку Кульчицкий. Его бомбят сейчас, и он собственного голоса не слышит.

Точно ученик, связной подал бумагу. Бабин зачеркнул "н", написал сверху "м".

- Перепиши три раза,- и опять задумался над ходом с трубкой в зубах. Лицо напряженное, глаза остро блестят.

Я выхожу из землянки.

В небе над головой, зайдя в хвост друг другу, кружат "хейнкели". Их круг в небе - это наш плацдарм на земле. Какой же он крошечный!

Согнувшись, бегу по кукурузе к НП. Падаю, не добежав. Звенящий вой входит в меня, как штык. Закрываю глаза. Земля вздрагивает подо мной, как живая. На минуту глухну от грохота. Когда поднимаюсь, впереди черная и серая стена дыма. И на фоне этой черной, клубящейся грозовой стены особенно зелено, сочно блестят листья кукурузы. И сейчас же новый взрыв кидает меня на землю. Становится темно и удушливо.

Потом "хейнкели" улетают, сквозь черный дым проглядывает солнце. И уже вскоре над головой у нас - летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце. Оно кажется сейчас особенно ярким. Даже не верится, что пять минут назад оно тоже светило над головой и только дым заслонял его. Я отряхиваюсь. Кого-то уносят, согнувшись, по кукурузе. Еще пахнет взрывчаткой и везде разбросаны свежие комья земли.

Неужели кончится война и с такой же легкостью, с какой проглянуло

сейчас солнце, забудется все? И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?

### ГЛАВА III

Ночью нас внезапно сменяют.

Является командир отделения разведки Генералов, с ним Синюков и Коханюк. Коханюк во взводе новый, я его еще толком не знаю. Острый пестренький носик в веснушках, пестрые рыжеватые глаза, тонкая шея. Кто ж тебя так кохал, Коханюк, что за ворот тебе еще и кулак можно засунуть? Генералова я не видел десять дней. Он еще больше раздался вширь, лицо заблестело. По его комплекции ему бы усы, да орденов полную грудь, да под знамя - гвардеец!

- Еле вас нашли! - говорит он радостно оттого, что все-таки нашли. - На НП - нету. Мы уж по связи сюда...

Он садится на землю, сняв с головы, кладет рядом с собой новую фуражку (ого! даже фуражку завел офицерскую. Я пока что в выгоревшей пилотке хожу), платком вытирает лицо, волосы. От него пахнет одеколоном. Пока мы едим, он рассказывает новости:

- Ну, товарищ лейтенант, с вас вина бочонок: комбатом вас хотят назначить.

- А Монахов куда?

- Малярия доконала. В госпиталь увезли старшего лейтенанта.

Странно устроен человек. Вот и не нужно мне это: кончится война, буду жив - демобилизуюсь. А все равно приятно.

Васин уже собрался, он и есть почти не стал: дома поедим.

Действительно, мы ж домой идем. Я встаю.

- Так вот, Генералов, делать тебе вот что...

И как только я встаю и начинаю вводить его в круг обязанностей,

Генералов сразу тускнеет, а на лице Коханюка отражается тревога. До сих пор они шли, спешили, один раз попали в болото, чуть не угодили под разрыв мины, бежали, искали нас, потеряли, нашли наконец,- они возбуждены и радостны. Но постепенно возбуждение остыло. Сейчас мы уйдем, и они останутся одни. Только Синюков - этот уже бывал на плацдарме - спокойно переобувается на траве. В огневом взводе есть несколько человек старше его, но у меня во взводе их только двое таких: он и Шумилин. Он из тех солдат, что ни от чего не отказываются, но и сами никуда не напрашиваются: обошлось без них - и ладно.

- Ты что ж без шинели? - говорю я Генералову.

-- А я так понимаю, нас скоро сменят?..

Это получается у него вопросительно.

- Смотри какой понятливый!

- Должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи. Младший лейтенант, фамилия у него еще такая запоминающаяся... В географии встречается.

- Чичеланов?

- Во, во! Пролив такой в школе изучали. Чичеланов, Магелланов...

- Ты, видно, сильный был ученик.

- Нет, чего? Я это дело любил...

- Понятно. Так что Чичеланов?

- В штаб дивизии для связи забрали в последний момент. Я понимаю, я тут временный.

- Ну, раз временный, в гимнастерке не замерзнешь, да у тебя ж еще и фуражка новая.

Генералов улыбается заискивающе: он, мол, понимает, что товарищ лейтенант шутит. Не нравится он мне сегодня. И мне бы надо с ним быть строгим, но отчего-то в душе мне неловко перед ним. Оттого, наверное, что я уйду и скоро буду на той стороне, а он остается здесь. И Генералов чувствует это.

- Ладно, оставляю тебе свою шинель.

И потому, что мне хочется скорей уйти, я, словно стыдясь этого, все медлю. Ребята от моего сочувствия окончательно погрустнели. Генералов еще несколько раз к слову говорит, что должны были прислать сюда младшего лейтенанта, а вот прислали его. А когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе, он выслушивает это угрюмо, словно и воевать его заставили вместо кого-то. Ничего. Это до тех пор, пока есть старший над ними, кто отвечает за все. А уйду, останутся одни - и разберутся сразу, и выроят, и сделают все.

Напоследок захожу к Бабину проститься, и потом вместе с Васиным мы быстро идем через поле к лесу. Под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зарницы орудийных выстрелов, и в воздухе над нами воет, удаляясь: опять по берегу бьет.

В лесу, сильные перед дождем, запахи цветов и трав хлынули на нас, и мы замедляем шаг. Теперь уже нас никто не задержит, мы отошли порядочно. Когда на плацдарме сменяют, самое сильное желание - скорей выбраться отсюда: вдруг в последний момент случится непредвиденное и тебе придется остаться?

В лесу темней, чем в поле, и душно здесь, и отчего-то беспокойно, как бывает перед грозой. А тут еще Генералов испортил настроение. Не следовало оставлять ему шинель. От близкого болота ночи здесь бывают свежие, померзнет в одной гимнастерке, так иная ночь в шинели раем покажется. И уж не станет думать о том, что он временный здесь. Мне на фронте никто свою шинель не подстилал. И правильно делали.

Но с полдороги и Генералов, и мысли о нем - все это остается позади. Мы возвращаемся домой! Радостно снова идти по лесу, по которому десять суток назад мы шли сюда, радостно узнавать каждое дерево. Лес с тех пор сильно поредел. Множество деревьев, расщепленных словно от удара молнии, белеет в темноте. У иных сломаны вершины, иные вырваны с корнем и валяются на земле, мертвые среди живых.

Наверное, здесь нет ни одного раненого дерева. Пройдет время,

затянутся осколки белым мясом, но еще долго у пил будут ломаться зубья, еще не раз человек, срубив дерево, вынет на ладонь осколок или пулю, и что-то защемит в душе и вспомнится пережитое...

Далекие, всходящие у нас за спиной ракеты освещают черноту впереди и блестящие листья на кустах. И по мере того как мы идем по лесу, к запахам цветов и трав присоединяется свежий все более сильный запах близкой уже реки. Сейчас будет поворот, а там рукой подать до Днестра. За поворотом мы обычно отдыхаем. Здесь в песчаный косогор, на котором растут сосны, держа его корнями, врыта землянка связистов. Хорошая землянка. Под самой сосной. Потолок сводом, как в русской печи. И пахнет здесь, как в сторожке: едой и махоркой. Даже дверь поставили настоящую. А от двери три ступеньки вниз и - дорога. Нет такого человека, который бы шел на плацдарм или с плацдарма и не поднялся бы по этим ступенькам, не выкурил бы сигарку у связистов на промежуточном пункте. И пока курит, не раз позавидует их тихому лесному житью. А представит себе место, куда идет сам, так и вовсе раем покажется эта землянка. Гася сигарку о подошву, пошутит: "Вам бы поросеночка завести или сразу корову, раз хозяйство такое". И однажды связисты в самом деле перевезли из-за Днестра корову, привязали к сосне около землянки - в полукилометре от берега, и километре от передовой. Даже навес соорудили над ней, чтоб незаметна была с воздуха, а травы в лесу - только ленивый не накосит. Но у коровы, как только она оказалась на плацдарме, почему-то пропало молоко. А вскоре ее убило снарядом.

Сейчас мы тоже перекурим у связистов. Тут как бы рубеж. Все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте. И если ты идешь на плацдарм, самую первую точную информацию получаешь здесь.

Сильный синий свет разрывает черноту над лесом, на миг осветились закачавшиеся вершины деревьев, и я вижу впереди себя, в том месте, где была землянка, огромную бомбовую воронку и с корнем вырванную, поваленную на дорогу сосну. Что-то торчит из песка, но я не успеваю разглядеть, что это:

свет гаснет. И уже в темноте над головами у нас, над зашумевшими вершинами, выше туч тяжело и глухо грохочет. Привыкшие к артиллерийскому обстрелу, мы не сразу догадываемся, что это гром. При новой вспышке молнии, подойдя ближе, мы видим полу шинели, мешком повисший шинельный карман и ногу в сапоге, согнутую в колене. Поднявшийся ветер уже раскачивает их над бомбовой воронкой на уровне наших голов. Прямое попадание...

- И сюда достал,- говорит Васин.

Мы привыкли к тому, что на плацдарме убивает. Без этого еще дня не было. И прямые попадания не такая уж редкость, когда простреливается каждый метр. Но здесь безопасное место. Здесь наш тыл. А когда убивает в тылу, это почему-то всегда действует неожиданно.

Через Днестр мы переправляемся под проливным дождем. Он по-летнему теплый. Пахнут дождем наши гимнастерки, которые столько дней жарило солнце. Теперь дождь вымывает из них соль и пот. Пахнет просмоленная дощатая лодка, сильно пахнет река. И нам весело от этих запахов, оттого, что мы гребем изо всех сил, до боли в мускулах, оттого, что соленые струи дождя бегут по лицу.

На плацдарме, теперь уже далеко от нас, всходят в дожде ракеты, свет их туманен. Хлещут синие молнии, ослепительно отражаясь в воде. Мы гребем спиной к тому берегу, лицами - к плацдарму. Он все больше отдаляется от нас и как бы опускается за воду. И чем дальше отплываем мы, тем меньше кажется он издали, наш плацдарм. Но скольких жизней стоил иной метр его...

- Зальет ребят! - кричу я.

Васин из-за плеча поворачивает ко мне мокрое, веселое лицо, в которое хлещет дождь.

- Просохнут!

Лодка скребет по песку. Мы выпрыгиваем в воду, вытягиваем лодку носом на берег.

- Искупаемся?

Мокрые, сидя на мокром песке, стаскиваем через головы гимнастерки, а

дождь шлепает нас по спинам. Из всего, что есть на мне, только партбилет не промок: он в прорезиненной обертке от индивидуального пакета. Я закатываю его в гимнастерку. Васин тянет у меня с ноги сапог и вместе с сапогом везет меня по песку, и мы оба хохочем. Потом он, голый, мускулистый, скачет на одной ноге, срывая с другой мокрые брюки. Рядом с ним я - худой и длинный, и я немного стесняюсь этого: ведь я же лейтенант. Мы пробегаем по лодке, раскачивающейся под ногами, и один за другим прыгаем головами вниз в черную воду. Ух ты! Даже дух захватывает - так хорошо! Когда я выныриваю из глубины, рядом отфыркивается Васин, трясет круглой головой, а река вся залита зеленым светом ракеты. Что-то холодное скользит у меня по животу, оббивает ногу. Вздвогнув от гадливого чувства, ныряю. Водоросли! Мягкие, шелковистые. Я кидаю ими в Васина, он кидает в меня, и, брызгаясь и смеясь, расплываемся в разные стороны. Только вырвавшись с плацдарма, чувствуешь, как же хорошо жить на свете! А с берега, из окопов, что-то кричат нам приглушенными голосами. Кажется, злятся.

Захватив под мышки сапоги, гимнастерки, брюки, мы босиком бежим по песку вверх. Спрыгиваем в траншею. И, сидя на корточках, в одних трусах, курим. От мокрых пальцев наших сигарки шипят. У Васина на мокром теле то вспыхивают и разгораются, то гаснут капли воды. А вокруг стоят пехотинцы и лейтенант, все в плащ-палатках, в капюшонах, голоса у них недовольные.

- Ну чего крик подняли? Он тут на голос бьет!

Я подмигиваю Васину, и мы оба хохочем. "На голос бьет!" А с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода. У этих ребят, обороняющих траншею за Днестром, здесь - передовая. Кто ж для них тогда мы, переплывшие с плацдарма? Смертники? А ведь для пехоты, сидящей на плацдарме, наш НП, расположенный метрах в ста позади них, - тыл.

-- Крепко вы здесь окопались! Проволоку бы еще надо колючую: все-таки фронт.

Обиделись:



- Мы таких видали. Вы-то вот сейчас уйдете, а он по нас будет бить.

Пожалуй, не стоило их обижать. Позади них еще ого сколько народу. на фронте у каждого свой передний край. И в жизни, наверное, тоже.

Дождь постепенно стихает. Мы натягиваем на себя все мокрое и идем в хутор. На этой стороне даже воздух легкий какой-то. Совсем по-другому дышится.

У первых домов из тени дерева наперерез нам выходит патруль. Двое разведчиков нашего дивизиона, у каждого из-за плеча торчит приклад автомата. Узнав, пропускают. Просят только прикурить.

- А курить на посту нельзя,- говорит Васин строго: он любит иногда поучать.

Смеются. Это они знают, как знают и то, что прикурить мы дадим. Уходят они от нас, унося в мокрых рукавах шинелей тлеющие огоньки сигарок.

В хуторе сон и тишина. Мы идем вдоль низкого, белого под луной заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. На другой стороне улицы до половины дороги - тень, несколько луж блестит в разъезженных колеях. Такое чувство, словно и родился я здесь и прожил здесь жизнь и теперь возвращаюсь домой. Вот она, деревянная калитка на кожаных петлях. Ее нельзя открыть. Ее надо приподнять и перенести. Мы делаем проще: мы перепрыгиваем через забор.

Кулаком бью в раму окна. Нечего спать, раз мы вернулись. Окошко крошечное: четыре стекла, вмазанных в белую глиняную стену дома, и рама крест-накрест. Все это сотрясается под ударами.

И сейчас же распахнулась дощатая дверь. Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, в трусах и босиком стоит на пороге.

- Заходите, товарищ лейтенант.

В доме сонное тепло, воздух густой, спертый. Разведчики, спавшие на полу, садятся на своих плащ-палатках, жмурясь от света лампы. Голоса до первой сигарки хриплые.

- Вы бы хоть окно открыли.

- Та они здесь такие окна, что не открываются. Прикладом выбить - это можно. Вместе с рамой.

И ухмыляются, довольные. Я скидываю с себя все мокрое, в одних трусах, босиком иду к столу по теплomu глиняному полу. И только сейчас всем своим голым отогревающимся телом чувствую, что прозяб.

На столе всего столько, что страшно начинать. Лежат три фляжки, обшитые сукном, стоит посреди стола высокая, мутноватая бутылка с прилипшими к стеклу крошками соломы. Самогонка. По запаху - виноградная. Вот с нее мы и начнем.

Панченко наливает в граненые стаканы мне и Васину. Мы только двое сидим за столом. Остальные разведчики - кто боком на подоконнике, кто на кровати, кто на полу, поджав под себя ноги,- сочувствуют издали. Их Панченко к столу не допускает: не они вернулись с плацдарма, а мы.

- Ну, за то, чтоб всегда возвращаться.

И мы пьем. Самогонка крепкая, до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет. И постепенно становится тепло.

У стола хозяйничает Панченко. Кухонным ножом режет хлеб. Не кукурузный, не ячменный - высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой. Потом появляется из печи горячая баранина и коричневая от подливки картошка. Все почти такое же, как, бывало, готовил Парцвания, только перца не хватает. Эх, Парцвания, Парцвания... Мы наливаем по второй.

Хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой. Об этом не думаешь там. Это здесь со всей силой чувствуешь. Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. И уезжать надолго не приходилось. Первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь, второй раз - уже на фронт. Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал того, что испытываем мы сейчас. Они возвращались соскучившиеся, мы возвращаемся живые...

Сидя на подоконниках, спинами подпирая стены, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. А в углу стоит широкая деревянная кровать с деревянными шарами. Белая наволочка, набитая сеном, белая простыня. В ногах поперек положена шинель. Конечно, это Панченко все приготовил, угрюмый мой ординарец. Он на год моложе меня. У него маленькие, вечно озабоченные глаза и крупный нос. "Нос у меня от деда", - говорит он. Брови тоже от деда. Панченко единственный в батарее кубанский казак, откуда-то из Усть-Лабинской. Я смотрю на его озабоченную, угрюмую милую морду, и в душе у меня к нему нежность. Но ему об этом знать не положено.

Многого не понимали до войны люди. Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? За всю войну только в госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. Так бывало в детстве: стоит тяжело заболеть, и тебе готовят самое лучшее, самое вкусное, а ты не можешь есть. И, выздоровев, всегда жалеешь об этом.

- Ну, по последней!

Потом я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельем, и проваливаюсь, как в пух. Такую широкую деревянную кровать невозможно ни вынести через дверь, ни внести. Ее вносят, наверное, один раз, до того, как построен дом. Ставят, а потом уж воздвигают саманные стены. Сегодня я сплю на ней один. Но отчего-то никак не могу заснуть. Жарко мне или не хватает чего-то? Я ворочаюсь, натягиваю на ухо шинель, с закрытыми глазами считаю до ста. И едва задремываю, как, вздрогнув, просыпаюсь опять. Я просыпаюсь от тишины. Даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов, привык, чтобы кто-то в тесноте дышал мне в затылок, и сейчас на широкой кровати, на чистых простынях не могу заснуть. И мысли лезут в голову о ребятах, оставшихся на плацдарме. Зажмурюсь - и опять все это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, дорога в лесу - до последнего кустика - и черные высоты, занятые немцами, при свете плывущей над ними ракеты... Нет, кажется, не усну. Я надеваю сапоги, накидываю на голые плечи шинель и

осторожно, чтобы не разбудить ребят, выхожу во двор. Весь он, покатый к Днестру, освещен, как днем, стена дома ярко-белая, а черные стекла в окне блестят. И воздух свежий после дождя, пьяный. И тихо. Как тихо! Словно и нет войны на земле. Я сижу на камне, запахнув колени шинелью. Что-то дышит рядом. Лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах, косится настороженно.

- Давай подружимся, пес!

Он тихонько рычит в ответ, и черная губа приподнимается над синеватыми клыками. Потом подползает все же, мокрый нос тычется мне в колено. Я запускаю пальцы в его теплую свалывшуюся шерсть.

Впереди - оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Свет ее, как два бельма, отражается в глазах собаки. И что-то такое древнее, бесконечное в этом, что было до нас и после нас будет.

В школе за один урок мы успевали пройти нескольких фараонов. Сорок пять минут урока были длиннее двух веков. Персия, Александр Македонский, Писистрат, законы Ликурга, Рим, Пунические войны, что-то сказал Гасдрубал, Столетняя война... Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой и вот теперь только пошло своим нормальным ходом. Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцать, пятнадцать лет. Как это много, если помнишь каждый прожитый день, если сорок пять минут урока за партой кажутся бесконечными, если давно мечтаешь стать взрослым, а время тянется так медленно!.. Я уже воюю третий год. Неужели и прежде годы были такие длинные?

Луна опустилась за трубу, только краешек ее светится над крышей.

Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженощный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно.

Продрогнув, я встаю с камня, и вместе со мной до половины подымается из-за крыши луна. В доме, в тепле, я укрываюсь с головой и, подрожав под

шинелью, засыпаю.

#### ГЛАВА IV

Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме. И первое чувство - куда мне не нужно спешить, ни о чем не надо думать. Хорошо! Где-то война, а я в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. Да, я - комбат! Ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба, при множестве свечей торжественно объявил мне об этом.

И вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве: не взводный, а командир батареи. Окно завешено суконным одеялом, в доме прохладно, сумеречно, от побрызганного пола пахнет сырой глиной, мух ординарец выгнал, чтоб не будили; только одна жужжит где-то под потолком. Я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям. Странно, их почти нет. Наверное, потому, что я просто еще не знаю, как должен чувствовать себя командир батареи.

Я откидываю ногами шинель, потягиваюсь на сене - простыня уже сбилась, зеваю до слез. Отдаленно бухает за Днестром орудие. По звуку - немецкое стапяти. Босиком иду к столу по глиняному полу, наливаю из кринки молока - оно даже желтое, такое жирное,- пью с пшеничным хлебом.

Все же хорошо быть комбатом. Был бы я сейчас взводным, нужно было бы бежать докладывать, а теперь можно не спешить. Хоть маленький, а хозяин. Одно неприятно, предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком.

Кондратюк старше меня и годами и по службе. Он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор - лейтенант. Он по-крестьянски кряжистый, ноги кривоватые, сильные, сапоги носит сорок пятый размер. Широко не столько в плечах, как в бедрах и в талии, и очень силен. Ему уже двадцать пять лет, но, глядя на него, ясно представляешь себе, каким он был в детстве, парнишкой еще.

Есть люди, которых просто невозможно вообразить детьми. Словно они такими прямо и родились на свет: значительными, солидными, лысеющими, с установившимися манерами и походкой. Словно они никогда не пачкали пеленок, никогда их не звали: Петечка, Вовочка, а уже в детстве величали Петром Георгиевичем, Владимиром Авксентьевичем... Кондратюка же видишь. Был он, наверное, сопливый, уши оттопыренные (они оттопырены и сейчас), и говорит он не "ушами", а "ушима": "своими ушима слышал...", передний зуб сколот косо, волосы на лбу торчат вверх, словно их корова языком лизнула. Вот уж действительно, у кого чего нет, тому именно этого хочется. Носить бы Кондратюку волосы назад, раз они сами туда указывают, так нет, старательно зачесывает костяной расческой набок, а уже через минуту на затылке и на лбу они у него торчат.

Я даже не понимаю толком, почему к нему никто не относится всерьез. Он самый старый в полку (да что в полку - во всей армии), самый старый командир взвода. Всю войну командует взводом. За этот срок на фронте взводного либо успеваешь убить, либо он становится генералом. Ну, старшим лейтенантом на худой конец. Кондратюк все в тех же чинах.

Его прислали к нам в сорок первом году, когда мы еще стояли на формировке. А он уже прибыл с фронта, из разбитого, попавшего в окружение пушечного полка большой мощности. И все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте. О бомбежках, о немецких танках с крестами, об автоматчиках, лезущих сквозь огонь, о том, как "мессера" на дорогах гоняются за каждым человеком. За ним тоже гонялся вот так "мессершмитт". Кондратюк в кювет - "мессершмитт" кружит над кюветом. Кондратюк в рожь - и "мессершмитт" в рожь, поливает из пулемета. "Кубики увидел у меня на петлицах и не дает житья. Что так, что так - конец приходит. Тогда я тоже разозлился, выхватываю наган и с третьего патрона снял его".

И вместе с этим несчастным "мессершмиттом", сбитым с третьего патрона, рухнул и вдребезги разбился весь фронтон авторитет Кондратюка. Сколько раз

уже собирались назначить его командиром батареи, но в последний момент обязательно передумают. Не везет человеку. И вот теперь тоже назначили не его, а меня, и мне придется разговаривать с ним и с этого первого разговора твердо расставить все по местам.

А в общем, чего это я с утра буду портить себе настроение? Успею еще вызвать и поговорить: война не сегодня кончается. Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие за Днестром. Ложусь на кровать и, лежа на спине, курю и прислушиваюсь. Не к орудийной надоевшей стрельбе, а к непривычным мирным звукам деревенского утра. Где-то с хрипотцой прокричал петух. Жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть.

На Украине у одной хозяйки видел я петуха, который пережил немцев. Утром взлетал на плетень, бил себя в грудь крыльями, но молча. Так что даже непонятно было, в каком смысле бил он себя в грудь. И сейчас же опрометью кидался под сарай. Сколько раз немцы лазили туда за ним, но так и не нашли. Только начихаются от пыли и лезут обратно. И до того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать, что немцы ушли, а он и после них не подает голоса. Старуха не нахвалится: "Такий розумный, такий розумный, ну як людына". Словом, всем хорош петух, только кур не топчет. И куры отчего-то к нему не идут. И старуха, хваля и вздыхая, бесславно прирезала петуха на лапшу.

Этот, по всему видно, решил лучше жизни лишиться, но не бросить кукарекать. И кукарекай себе на здоровье! С улицы несется веселый утренний звон молотка по железу. Даже здесь, в сумеречной комнате, чувствуется, что за окном яркое после дождя утро. Когда ветром отдувает одеяло, плоский солнечный луч, пронзив сумрак, упирается в печь, и побелка вспыхивает. Табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна.

Из-за дома слышны голоса разведчиков, смех. Смех почему-то женский. Странно. На двадцать пять километров от Днестра нет мирных жителей. Откуда женский смех?

Я еще некоторое время курю лежа, но мне это уже не доставляет

удовольствия. Потом вовсе становится скучно валяться здесь одному. Одеваюсь, натягиваю гимнастерку. Она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом. Панченко старался спозаранку. И стоячий воротник тоже влажен и тесен, когда я застегиваю пуговицы.

В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери. Глиняный пол, стертый деревянный порог и вся дверь - в солнечных полосах. Я распахиваю ее и замуриваюсь: после сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленая листва деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит. На непросохшем песке еще не затоптанные следы крупных капель.

Издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут собрался весь взвод! Одна из девчат - полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко: при ее достоинствах и это - награда. А тот, ерзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки - синий берет со звездочкой.

Я почему-то сначала подхожу не к ним, а к Васину. Босиком, в летних галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке - тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара, - он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоят несколько жестяных кружек: совсем маленькая, больше, больше... Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках.

- А это зачем?

Васин подымает от работы веселое, все как в росе лицо.

-- Норма. Сто грамм. Чтоб старшина не обмерил.

И смеется:

- Был обрезок, я и согнул. Чего жести пропадать зря?

Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно: и дно и внутри. В



душе я завидую развязности Саенко. И девушкам, наверное, с ним легко.

- Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь? - громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом.

Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться: я краснею. Причем всякий раз невпопад, и даже, бывает, неожиданно для самого себя. Краснею так мучительно, что вокруг всем становится неловко. И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть. И сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь, строго осматриваю ее, словно принимаю у Васина работу. Глупо, ну глупо же! Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня.

- О-о, начальство строгое!

Только бы не покраснеть. Кажется, один Панченко одобряет мой строгий вид: он вообще ревниво печется о моем авторитете. Я становлюсь еще строже.

Выручил меня связной командира дивизиона Верещака. В пилотке поперек головы, с карабином, из которого он за всю войну так, кажется, и не выстрелил по немцу, Верещака козыряет, запыхавшись:

- Товарищ лейтенант, вас той... командир дивизиона звать!

Глаза, как всегда, обалделые.

- Пилотку поправьте!

Верещака хватается за нее обеими руками. Из-за отворота падает на землю окурок. Верещака подхватывает его, прячет обратно.

Начальственно строгий, как журавль, я иду за связным в штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки:

- Слишком серьезные... Девушками не интересуются.

А я ненавижу себя в этот момент. И настроение у меня окончательно испорчено.

Зато у Яценко настроение хорошее. Это видно сразу. В новом жарком

кителе из английского сукна, в широченных галифе с напуском на колени и кантами, в сверкающих сапогах, в фуражке со сверкающим козырьком, он победителем стоит посреди штаба под низким побеленным потолком хаты, слушает писаря. Тот, не подмигивая - политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах, рассказывает, по каким соображениям костюм Яценко был сшит раньше, чем командиру первого дивизиона. Тут, оказывается, тоже своя субординация.

С недавних пор завелись в полку два портных, и зеленоватые, мягкого сукна английские шинели стали срочно перешиваться на офицерские кителя и брюки. Вначале были сшиты костюмы командованию полка, теперь дошла очередь до командиров дивизионов. Причем шили не по какому-либо порядку, а в виде поощрения, так что тот, кто обмундировывался первым, мог считать себя в некотором роде награжденным. И писарь вел свой рассказ так, что многое в нем щекотало Яценко самолюбие.

- Видал химика? - Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать.

Это тоже поощрение своего рода, что меня приглашают послушать. Был бы я сейчас командиром взвода, Яценко не пригласил бы: с командирами взводов он строг! А теперь сразу видно, меня приблизили на определенную дистанцию. Для писаря поощрение в словечке "химик". Так Яценко называет людей ловких, оборотистых и почему-то всегда писарей.

- Химик! - шепотом повторяет Верещака с восторгом рвения, словно хочет запомнить. И хихикает: смешно!

- Никакой химии, товарищ капитан! - честно таращится писарь; сразу видно - врет!

Яценко доволен. Зачерпнув из котелка полную горсть шелковицы, головой указывает мне на писаря. "Видал чертей? Я их знаю!" - и, как семечки, кидает ягоды в рот с расстояния, быстро прожевывая, причем все мускулы лица сразу приходят в движение. От спелой шелковины рука его как в чернилах, а сам он в

зимнем толстом кителе выглядит нахохлившимся, но доволен, поскольку награжден. Яценко наконец вытирает руку.

- Отвоялся?

И смотрит на меня с удовольствием, оглядывает с ног до головы. Это, наверное, в самом деле приятно: видеть человека, которого сам ты повысил в должности.

- А ну покажи ему список награжденных.

Яценко, отойдя к окну, заложил руки за спину, улыбается загадочно. У меня от радостного предчувствия сжало сердце. За что? За Запорожье? Но тогда наш полк перекинули в другую армию, и говорили, наградные затерялись. А может быть, нашлись? Бывают такие случаи. Или за Ингулец?

Множество честолюбивых надежд проносится в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писаря. Что? "Звездочка"? "Отечественная война"? А может быть, "Знамя"? Под Запорожьем, говорят, к "Красному Знамени" представляли. Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался. И это приятно мне сознавать.

Буквы скачут у меня перед глазами. Орден Красного Знамени - один человек. Красной Звезды - трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия как черта над обрывом. А дальше - пустота! Как же так? Я шел сюда, ничего не имея, и сейчас не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминал со стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте, на чистой стороне. Яценко хохочет:

- Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено?

- Трое, товарищ капитан!

- Видишь - трое! - Яценко чистой рукой отбирает у меня список. - Васин

твой?

- Мой.

- "За отвагу". Панченко твой?

- Мой.

- "За отвагу". Парцвания твой?

Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими круглыми, черными, будто слезой подернутыми глазами: "Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе столько орденами награждено! За табак! За чайный лист! За цитрусовые! Все женщины с орденами. Стыдно, на войне был и без ордена приехал. Скажут, не воевал Парцвания". На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметней, чем орден на летчике.

- Убит Парцвания. А Шумилин награжден? Я что-то не видел его фамилию.

- Шумилин.- Яценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам.- Шумилин... Шумилин...- Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брони сошлись у переносицы.- Это какой же Шумилин?

- Связист. Лет сорок пять, пожилой такой.

- Шуми-илин...- Палец срывается с бумаги.- Нет, нету. Он что, подвиг какой-нибудь совершил?

-- Никакого он такого подвига не совершал.

Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать.

- С сорок первого года воюет человек, какой еще подвиг нужен? За труд - за свеклу, за лен - орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопатой перекопал? Под бомбами, под снарядами... Ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой - пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме...

Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, и медаль на его груди качается и поблескивает.

- Постой, постой! - останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности.- Да ты что, собственно, меня за советскую власть агитируешь?

И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии.

- За советскую власть агитируешь,- шепчет Верещака, будто заучивая.-

Товарищ капитан если скажут, так уж правда скажут...- И хихикает: смешно.

Яценко веселеет от успеха.

- Что ты меня, говорю, агитируешь за советскую власть? - повторяет он уже для слушателей.- Я ей вполне предан.

У писаря и связного - оживление.

- А то,- говорю я, с ненавистью глянув на них,- что я Шумилина четвертый раз представляю, и опять какой-нибудь писарь потерял наградные.

Писарь с медалью обиженно обрывает смех, смотрит на командира дивизиона, как бы ожидая, что тот оградит его от оскорблений.

-- Тоже удивил: четыре раза... Вот этого еще из твоего взвода представляли... музыкант... фамилию забыл. Так что не один Шумилин. Да если б каждый из нас за каждое представление получал по ордену...

Яценко уже хотел расхохотаться, но вдруг нахмурился. Получилось не совсем удачно. Дело в том, что за Барвенково Яценко представляли к ордену Отечественной войны второй степени, как и многих других. Прошло время, полк опять перекинули в другую армию, и все решили, что наградные потерялись: это уже бывало не раз. Тогда Яценко за то же самое представили вторично, но теперь уже к ордену Отечественной войны первой степени, как бы возмещая долгое ожидание. И еще потому, что из трех командиров дивизионов он единственный в ту пору не был награжден. И вдруг приходят сразу оба ордена - и первой и второй степени - одному Яценко. Вот они оба на его груди, ввинченные в сукно, блестят золотыми и серебряными лучами...

Неловко получилось. Собственно, я, когда говорил, никак его не имел в виду. Но с Яценко почему-то всегда неловко выходит.

Дальнейший разговор строго официален. К шестнадцати ноль-ноль построить батарею: будут вручаться награды. Заправка, обмундирование - чтоб все как

следует быть! "Слушаюсь! Слушаюсь!" Козыряю: "Разрешите идти?"

На улице уже жарко. В небе, забравшись на недостижимую высоту, кружится, и воет, и блестит в лучах солнца крошечный металлический самолет. "Рама". Белые дымки зенитных разрывов, отставая, кучно вспыхивают в небе.

Странно, как многое из того, что не имеет цены там, на плацдарме, здесь становится важным. Мы ни разу не говорили там об орденах, а сейчас я не нашел себя в списке и расстроился. Перед кем, правда, неловко, так это перед стариком Шумилиным. Он, конечно, ничего не скажет и виду не подаст, но, пожалуй, даже лучше, что меня нет в списке,- по крайней мере, не так неловко перед ним.

От ближнего дома мне машут и кричат что-то. Это разведчики второй батареи. Я машу им в ответ. Если посмотреть вверх по склону, хутор безлюден. Глянуть вниз, к Днестру,- за каждым домом народ. Лежат, сидят на земле, иные, задрвав голову, приставив ладонь козырьком, наблюдают за стрельбой зенитчиков, иные без рубашек жарят спины на солнце: летом даже на фронте хорошо. В воздухе лень, зной, высоко над хутором, взбираясь еще выше, гудит самолет.

Меня вдруг словно током кольнуло. Какого это музыканта из моего взвода представляли к награде? Музыкант у меня один: Мезенцев. Я его не представлял. Комбат? Комбат в госпитале, у него не спросишь. Яценко? Первое желание - идти обратно к командиру дивизиона. Нет, не пойду. И так поговорили достаточно. Дело ведь не в медали, дело в справедливости.

Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу: Мезенцев. Он - рядовой, я - офицер, я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его. Он двадцать первого года рождения, на два года старше меня. И когда началась война, и когда немцы подошли к Днепропетровску, он был призывного возраста, но почему-то не в армии, и как-то так получилось, что остался в Днепропетровске. Говорит, уже нельзя было выехать. Не знаю, может быть. До войны он играл в оркестре на валторне. Он это произносит так: "На валторне"

- и головой и рукой делает красивый жест. При немцах он тоже играл в оркестре. Люди воевали, а он играл на валторне. Говорит, было очень тяжело. Тем не менее женился при немцах и даже двоих детей народил. И освободили мы его не в Днепропетровске, а в Одессе - вон уже где!

В полку прослышали, что он может играть на трубе, и два раза пытались его забрать. Я не отдал. Мезенцев знает об этом и тоже ненавидит меня. Если меня ранит или убьет, он очень скоро - я уверен в этом - окажется в оркестре дивизии, а то и армии.

Я ненавижу его не столько за то, что он был у немцев и далее детей там народил - черт с ним, в конце концов! - но он из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие. И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие, и он даже уверен в этом своем праве. Потому что он играет на валторне.

Когда я возвращаюсь, Васин все еще звенит молотком по ломику, только рядом с кружками уже сверкает на солнце новый жестяной котелок. Шея, грудь Васина блестят от пота, а на носу вздрагивает при каждом ударе мутная капля. Но утереть некогда: счастлив. И, глядя сверху на его белые, осыпанные веснушками плечи, глядя, как он увлеченно работает, я твердо решаю, что больше не возьму его на плацдарм.

- А ну бросай эту ерунду. Старшину зови ко мне. Быстро!

Я вдруг замечая Мезенцева. Вышел из-за дома, ждет. Уже прослышал что-то. Он в немецких сапогах с короткими широкими голенищами на худых ногах, плечи покатые, руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, на длинной, с кадыком, шее узкая голова, вдавленные виски, плоские полосы. Совсем иначе он выглядел бы в вечернем костюме с подложенными широкими плечами, брюки скрывали бы худобу ног. Но здесь, на фронте, каждый выглядит так, каков он есть в действительности. И я с удовольствием говорю ему:

- На плацдарм со мной пойдете вы. Связистом.

- Я, товарищ лейтенант, радист.

Что-что, а права свои он знает хорошо. Он - радист. Рация сейчас в ремонте. Следовательно, пусть пока воюют другие.

- А вот вы с ихнее повоюйте, тогда будете рассуждать, кто вы, радист или связист. Вы тем будете, кем я вас сделаю. Ясно?

Молчит. Глаз не опускает. Они у него выпуклые, блестящие.

- Ясно...

Тогда я возвращаю его:

- Повторите приказание!

Здесь не строевая подготовка, здесь - фронт. Ни с одним из своих бойцов я бы не стал делать этого. Но Мезенцев еще не воевал, а уже кто-то представляет его к награде. На глазах у взвода я возвращаю его два раза подряд.

Старшина батареи, старый, хитрый, мудрый, прижимистый Остапенко, от которого почему-то всегда пахнет конским потом, хотя орудия наши на механической тяге, подходит ко мне с опаской. Он пережил уже пятерых комбатов, знает, что на все его возражения у комбатов существует одно: "Чтоб было!" - и боится нововведений, от которых обычно страдает имущество батареи. Я приказываю ему построить батарею к шестнадцати ноль-ноль, лично проверить обмундирование, оружие.

- То так... Так... Слушаюсь, товарищ лейтенант,- бормочет он, довольный пока что.

- Товарищ комбат! - кричат мне из соседнего дома, едва видного за абрикосовыми деревьями. Голос младшего лейтенанта с родинкой.- Идите к нам вареники делать с шелковицей.

И машет мне из окна.

- Вот сахару отпустишь на вареники! - приказываю я.

- Сахарю? - пугается Остапенко. Но не возражает. Комбату возражать нельзя, он старшина дисциплинированный.

Кто-то уже принес новость из штаба, и взвод приходит в движение. Васин



срочно вырезает из жести недостающие звездочки для пилоток, артиллерийские эмблемы на погоны. Их тут же пришивают нитками. Срочно чистятся сапоги, разбирают и смазывают оружие.

Я иду в соседний дом, едва видный за абрикосовыми деревьями.

## ГЛАВА V

Младшего лейтенанта с родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашова. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа, она, правда, из Таганрога, но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они с сестрой двойняшки - Рита и Люся - и совершенно похожи друг на друга, только по родинке ее отличали от Люси. Мне почему-то страшно нравится, что она - двойняшка и что с родинкой. Среди знакомых моих никогда не было двойняшек. И я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают.

- А у Люси тоже такой завиток на лбу?

Рукой в муке, тыльной стороной, Рита откидывает волосы со лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нету. Люся талантлива. Прошлой весной, когда шли бои под Никоподем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила.

- Помните, какая под Никоподем была грязь?

Я смотрю сбоку на ее руки, мясчатые тесто на вареники, на ее коротко остриженную темноволосую головку, покрасневшие щеки, оживленно блестящие глаза. Рита Тамашова.

Нет, я не помню, какая под Никоподем была грязь: и то время я лежал в госпитале. Меня под Запорожьем ранило. Но к нам привозили раненых из-под Никополя, они рассказывали про эту грязь.

- Жуткая грязь,- говорит она весело.- Танки и то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов; и снаряды, и продовольствие, и патроны. И Люсино это письмо тоже сбросили с самолета. Меня как раз ранило, я лежала на

плащ-палатке и редела как дура. Потому что уже несколько дней все на мне было мокрое, а тут еще холод, и я крови много потеряла. И вот тогда, чтоб развеселить, мне принесли Люсино письмо. Оно тоже было мокрое, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное. Потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно.

Как странно, она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я.

Эвакогоспиталь 1688. Полевая почта 24332.

- Помните, там был хирург - грузин с усиками? Большой такой, черный, руки огромные. Такие руки, что сразу веришь.

Конечно, помнит! Три операции он ей делал. Мы переходим с Ритой на "ты".

- Так это ты только сейчас едешь из госпиталя?

- Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась.

- А я в марте выписался.

Надо же: целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал.

Наверное, потому, что она была лежащая больная.

Рита подсучивает мне рукава гимнастерки: "Ты же весь в муке вымазался!"

- подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговицам моей гимнастерки на груди. Я стою, задерживая дыхание, подняв руки в муке: добровольно сдаюсь в плен.

Завиток у нее тоже в муке. На затылке у нее короткие волосы.

- А Люся вареники не умеет делать,- говорю я уверенно.

Рита смеется:

- Глупый! Люся талантлива!

Удивительно неприятное, лисье имя: Люся.

Я знал одну Люсю. С длинным, всегда озябшим носом, малокровная, и рассуждала о живописи. Спорит, вся красными пятнами покроеется, а мать говорит грустно, так, чтобы она не слышала: "Вы уж, пожалуйста, не возражайте ей, не спорьте: у нее после крови носом идет".

-- Люся с самого рождения талантлива?

Рита смеется.

- И у нее, конечно, здоровье слабое? И в детстве у нее был плохой аппетит?

- Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее, что она тебе не нравится?

- Почему... Наоборот, мне это все нравится.

Я сам толком не знаю, отчего злюсь на эту Люсю.

- Тебя в детстве звали "девочка с изюминкой"?

- Нет.

- Понятно. А я бы звал. У тебя родинка похожа на изюминку.

У Риты слезы на глазах: от смеха и от дыма. Уже не видно потолка, дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. Мы вместе пригибаем головы, руки наши месят одно тесто, и отчего-то делается страшно немного.

- Вы топите, в конце концов, или вы не топите?

Саенко и его дама сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, поочередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Широкие спины обоих одинаково перетянуты портупьями, плечи одинаково широки, икры одинаково толсты. Блондинка как раз в Саенкином вкусе. Они взялись вместе растапливать печь - имеется в виду в дальнейшем варить вареники - и вот уже добрых полчаса сидят перед нею на корточках и дуют, и хохочут, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников.

- Мы ее топим, а она не топится.- Блондинка кокетливо улыбается мне.

- Да вы же трубу не открыли! Вон дым течет изо всех щелей!

- Мы открыли. Ее только завалило, кажется.

- Так что вы дуете?

Смотрят друг на друга. Смеются. У Саенко, освещенные пламенем печи,

блестят толстые губы.

Дым уже опустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает в сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстия в крыше и стене. Вчера в эту хату попал немецкий стопятимиллиметровый снаряд из-за Днестра, пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался и теперь валяется посреди двора, длинный, новый, величиной с молочного поросенка. Если посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду, и сквозь солому тоже.

- Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому,- говорит Рита.

- Второй раз не попадет,- заверяет Саенко.- На то и существует закон рассеивания снарядов.

- Где это такой закон существует? - интересуюсь я.

Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прямо-таки наповал убивает девчат своей ученостью.

- В артиллерии существует... И вообще в природе... Разве вы не знаете?

- Он усиленно подмигивает мне.

- Все же в артиллерии или в природе?

- В артиллерии.

- Так... Ну, раз ты такой грамотный, бери кастрюлю - и вдвоем шагом марш за шелковицей.

- У нас шелковицы достаточно.- Глаза Риты смотрят на меня насмешливо и твердо.

- Нет, у нас недостаточно шелковицы,- говорю я еще тверже.

Саенко хватает ведро и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только они уходят, за окном при ярком солнце обрушивается белый ливень с градом. И как только они уходят, становится вдруг не о чем говорить и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам. Белые горошины его отскакивают от железного подоконника, брызги летят на руки нам. Я опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту.

- Теперь они на час пропадут,- говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, но голос у меня ненатуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной.

На плацдарме начинается сильный обстрел, даже здесь дрожат остатки стекла. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку: "Стопятидесятипяти... Стопяти..." Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем.

- Печь, кажется, совсем погасла,- говорит Рита.

Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она идет к печи. Я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточки. Я тоже сажусь на корточки. Рита дует в печь. И я дую в печь. Пламя освещает наши лица. Наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное, круглое колено. Дрова трещат и стреляют искрами, печь разгорается, лицам становится жарко. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь, пушок на ее порозовевшей щеке и губы, освещенные пламенем. И я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы поднимаемся одновременно. Она, кажется, рассерженная, я - испугавшийся собственной смелости.

- Физкульт-привет! - говорит Рита.- Предупреждаю: аплодисменты будут по щекам.

Я готов пострадать. Я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее за плечи рукой, я ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колет мне щеку. Ритин поднявшийся торчком погон упирается мне в ухо. И тут оба мы слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается. Снаряд уже воеет над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна.

Тррах!

Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки блестят у Риты в волосах.

- Пстой,- говорю я и осторожно выбираю их пальцами.

В доме пахнет разорвавшимся снарядом.

- В саду разорвался,- говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову.

Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, грудь гимнастерки, лицо - все в жидкой глине, словно он плашмя полз.

- Мусю убило. Идите скорей!..

Мы выбегаем за ним в сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, принакает ухом, поворачивает ее на спину, и тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови.

- Я на дереве был,- словно оправдываясь, говорит Саенко,- она внизу стояла с ведром. Меня оттуда взрывом скинуло. Поднимаюсь - она лежит...

Он вытирает руки о штаны. Рита встает с колен, подходит к нам.

Сейчас, когда она лежит в траве, Муся не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее в чернильных пятнах осыпавшейся шелковицы. Дождь смывает их. И множество спелой шелковицы, стрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее зовут: Муся.

- Ее звали Паша,- говорит Рита.- Но она почему-то стеснялась и, когда знакомилась, говорила, что ее Мусей зовут.

И вспомнила:

- Это она придумала делать вареники. Она сладкое любила.

Главное, так все хорошо начиналось...

А на плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитный грохот.

Наша артиллерия бьет уже с этой стороны, а из-за Днестра временами

доносятся пулеметные очереди. И вдруг предчувствие какой-то беды охватывает меня.

- Мезенцева ко мне! - кричу я Саенко и бегу в дом, где оставил автомат.

Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами.

- Товарищ лейтенант, вас комдив требует!

И, оглянувшись, не слышат ли нас, говорит тихо:

- Слух прошел, немец наступает.

Я глянул на Риту. Она смотрела на меня. Война!..

Яценко встречается мне на полдороге.

- Связи с твоими нет! Что они, спят, сволочи? Кондратюка гони на плацдарм!

- Кондратюк там ничего не знает. Я сам.

- Сам? Давай сам. Быстро! И связь, связь! Стрельбу ведем в белый свет, никто не корректирует.

Каждое слово он отрубает взмахом кулака. На кулаке даже косточки побелели, так сжат.

Подбегает Мезенцев, сопровождаемый Панченко. Мы вместе бежим с ним к переправе. Вдруг я замечаю, что Панченко не отстает от нас.

-- А ты куда?

Молчит.

- Назад сейчас же!

Он остается под дождем, недовольный, даже издали я вижу, как он все не уходит.

У тех, кто попадает навстречу нам, лица тревожные, в глазах один и тот же вопрос: "Что там?" А там все сильнее обстрел и нет связи.

На перекрестке двух улиц застряла в грязи повозка. Повозочный яростно хлещет лошадь по морде. Просвистел снаряд, за домами с грохотом взлетает дым разрыва, лошадь, обезумев, рванулась, вырвала повозку из грязи и мчится по улице, вся лоснящаяся от дождя, волоча вожжи. Повозочный с криком бежит за

ней.

На переправе пехота уже в боевой готовности. Стоят в траншеях молчаливые, вглядываются в тот берег, пулеметы наведены на реку. Какой-то артиллерист в плащ-палатке, в капюшоне под дождем кричит команды в телефонную трубку. Мы сбегает к лодке. Веревка, которой она привязана к колу, намокла и не отвязать.

- А ну помоги!

Вдвоем, натужась, мы вырываем кол из песка, вместе с веревкой кидаем в лодку, спихиваем ее с берега. И когда лодка уже качается на воде, прыгаем в нее через борта, разбираем весла.

Тот берег закрыт от нас дождем. И этот берег постепенно отступает, мутнеет, скрывается из глаз. Мы уже мокры насквозь, и в сапогах у меня хлюпает, и скамейка, на которой я сижу, мокрая. Передо мной узкий затылок Мезенцева, шея с ложбинкой и прилипшими к ней мокрыми косицами волос, по которым вода бежит за воротник. Напряженная сутулая спина его с немецким автоматом, косо висящим на ней, то отклоняется, то валится на меня.

Почему нет связи? Все явственней слышны пулеметные очереди, перебивающие друг друга: наши и немецкие. Артиллерийский гром грохочет за стеной дождя. И оттого, что предчувствие беды не оставляет меня, мне кажется, что мы плывем медленно, и мне противен сейчас и узкий затылок Мезенцева, и суетливые движения его слабых, разболтанных в кистях рук, в которых весла то и дело вырываются из воды.

Наконец тот берег становится различим за моим плечом: обрыв и темный лес над обрывом. Он все ясней выступает из дождя.

Лодка ударяется в песок, мы валимся друг на друга, мокрые выскакиваем на берег. Мезенцев выпрыгнул неудачно, нога подвернулась, он падает в воду.

Я уже сижу под обрывом, с автоматом на коленях, жадно сосу намокшую сигарету, когда, хромя, подходит Мезенцев. Вода потоками течет с него.

- Нога подвернулась,- говорит он, бледный, задыхаясь.



Он садится рядом со мной на песок, через мокрую кожу сапога ощупывает пальцами щиколотку.

По лицу у меня течет вода. Я вытираю ее ладонью, сигарета жжет мне губы. На Мезенцева не смотрю. Это случается на плацдарме: пока был на той стороне - ничего не болело; попал на плацдарм - нога начала подворачиваться.

От грохота и сотрясения берег над нами дрожит и осыпается, обнажая сухой песок, серые корни деревьев. У самой воды лежит оскаленная убитая лошадь. Дождь моет ее лоснящийся бок, волна полощет гриву. Рядом свежая воронка, залитая водой, какое-то окровавленное тряпье, обрывок бинта, из которого дождь уже вымыл кровь. Держась за щиколотку, Мезенцев глазами навзничь косится на этот бинт на песке, мокрое лицо его уже не бледно, а серо.

- Пошли!

Я бросаю окурок в воронку. Мгновенно два пескаря всплывают к нему. Смерть и жизнь - на фронте это всегда рядом! Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека - это его окровавленное тряпье полощет дождь,- и в той же самой смертной воронке, занесенные сюда волной, уже живут два пескаря. И тут же я зажмуриваюсь, сжавшись. Грохот. Дым. С обрыва нас обдаёт грязью. Мина!

- Пошли! - ору я, чувствуя, как трудно мне сейчас оторвать себя от земли.

С автоматами за спинами мы карабкаемся по осыпающемуся обрыву, хватаем руками мокрые, скользкие от глины корни деревьев, лезем по ним, как обезьяны. Вылезли. Бежим. Падаем: разрыв позади! Мезенцев все сильнее хромает, но не решается отставать. Кажется, он правда подвернул ногу. Вбегаем в лес. И тут встречаем первого раненого. В мокрой, натянутой на уши пилотке, он под локоть несет впереди себя забинтованную руку. На минуту опустив ее, безнадежно машет здоровой рукой:

- Хана! Прет всей силой... Закурить нет ли?

Я охотно достаю ему сигарету, потому что вдруг чувствую нерешительность. И даже помогаю ему закурить, заслонив огонь от дождя.

Где-то я уже встречал этого пехотинца, лицо его знакомо мне.

- Наших там не видал? Артиллеристы... НП в дороге...

- Накрыло! - кричит он, как глухой.- Куда там!.. Тяжелыми бьет!.. Как даст, как даст - аж земля сдвигается. И автоматчики... Из огня лезут!..

Я сразу отчетливей слышу стрельбу по лесу и близкие крики. С треском разрывается в вершинах снаряд, мы только успеваем присесть.

- Вон он, вон что делает,- заторопившись, бормочет пехотинец.- Лодки на берегу есть, не видал?

И тут я замечаю затравленные глаза Мезенцева, о котором я забыл в этот момент. Они только что не кричат. В них - мои мысли. То, что я самому себе не скажу, он сейчас скажет вслух: "Зачем мы идем туда, когда все отходят? Там никого уже нет!" И вовсе тайное: "Здесь мы одни, ничем не связаны, никого нет над нами. А оттуда уже не уйти нам. И лодок не будет..." И во мне остро вспыхивает ненависть к нему.

- За мной! - яростно кричу я и бегу вперед с автоматом в руке.

Стрельба все ближе, чаще разрывы по лесу. И сильно пахнет дымом. Один раз, перепрыгивая поваленное дерево, я упал. Встаю, задыхаясь. Автомат, колени, руки - в жидкой грязи. Мезенцев сидит на земле, держит ногу в руках.

- Не могу идти, товарищ лейтенант. Ногу вывихнул. Я не обманываю.

Честное слово!

Губы у него дрожат, капли дождя на лице, как слезы.

- За мной!

Я чувствую, могу застрелить его сейчас. Он тоже чувствует это и подымается с земли.

Еще несколько раненых попались нам навстречу. Каждый говорит свое. Рослый пехотинец с закушенными от боли белыми губами - осколок попал ему в пах - тычет в сторону винтовкой, опираясь на товарища.

- С фланга обходит, сволочь! Минометами глушит - головы не подынешь!

Голос звенящий, надорванный. Товарищ отводит глаза. Этот ранен легко, пристроился провожать, боится, как бы не вернули.

Я уже не бегу, а иду, потому что Мезенцев все время отстает. Я тоже выбился из сил в облепленных грязью сапогах, сердце колотится так, что в висках отдает.

Внезапно дождь кончается. Сразу светлеет. Стрельба начинает стихать. Нестерпимо яркое солнце открылось в небе. Лучи его дымным веером валяются сквозь вершины. В лесу - пар.

На черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется. Другой, пустой рукав висит, в расстегнутом вороте видны бинты, и под гимнастеркой обозначается рука, согнутая в локте. Единственный из всех раненых он говорит беззаботно:

- А ни черта там никто никого не обходит. Ну дождь же. Мы разведку пустили, немец разведку пустил. Чья-то разведка на мины напоролась. А может, их вовсе градом на проволоке повзрывало. Тут он с перепугу стрельбу открыл, тут мы напугались. Я сам шестнадцать мин пошвырял, а где разорвались - ни одну за дождем не видел.

Белые ровные зубы его блестят весело, глаза блестят. И все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым. Разве можно в бою верить раненым?

Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки и когда потом меня везли в медсанбат, я был уверен, что наступление наше провалилось. И в медсанбате (а там лежали исключительно раненные во время этой контратаки) все говорили, что Запорожье нам теперь не взять - будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили: мы же оттуда, мы

лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи,- значит, они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа - ему кажется: фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит. Но я-то чего верил?

Жарко. Я расстегнул гимнастерку на потной груди. Наверное, и ребята живы. "Накрыло!" Он, этот солдат, контуженный был, оттого и кричал, как глухой. Я его про наш НП спросил, а он про себя говорил, про снаряд, которым его контузило.

Мы доходим до опушки леса, и я вдруг слышу голоса своих разведчиков, а потом и вижу их. Вон они сидят под деревом и спорят, а за деревьями мокрый луг блестит против солнца, как сквозь дым.

- Синюков! - обрадовавшись, кричу я.- Коханюк! И бегу к ним.

- Живы?

Они, словно испугавшись, вскакивают, стоят передо мной потупясь.

- А Генералов где?

Молчат. Ни тот, ни другой не поднимают глаз. Я оглядываюсь и теперь только замечаю Генералова. На мокрой траве, метрах в двадцати пяти отсюда, он лежит навзничь. Гимнастерка на впалом животе задралась, лицо с открытыми глазами выполоскано дождем до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода.

Дождь хлестал в него уже лежащего, и теперь от обмундирования Генералова подымается пар.

- Почему вы здесь? - спрашиваю я.

В первый момент я как-то даже не обратил внимания, что они не на НП, а в лесу, метрах в шестистах позади него: рад был, что живы.

- Почему вы не на НП? Связи почему нет?

- Связь есть,- говорит Синюков.

- Почему не отвечали?

Молчат. Мнутса. Коханюк совершенно растерян.

- Садитесь!

Садимся на траву. Постепенно картина проясняется. У меня не зря было плохое предчувствие, не зря мне казалось, что должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП. Начался дождь, начался этот суматошный обстрел в дожде, в плохой видимости. Потом у них перебило связь. Потом откуда-то прополз слухок: "Немцы наступают..." И они побежали. Я знаю, как это бывает. Как вдруг возникает страх, что все отойдут и ты останешься один. А тут еще не видно никого и только сплошной губительный огонь.

Может быть, вовсе и не в предчувствии дело. Когда на плацдарме сменяют, больше всего хочется скорей уйти отсюда, пока ничего не случилось, пока тебя не задержали в последний момент. Мне в тот раз очень не понравилось настроение, с которым оставался Генералов. И надо было что-то сделать. А когда начался обстрел, вот это и гнало меня сюда, и заставляло торопиться, и мне казалось, что без меня там случится беда.

- Как его убило?

- Свои,- говорит Синюков мрачно.- Вон оттуда стреляли.- Он указывает на поле.

Оказывается, им кричали. Синюков слышал. И Генералов слышал, конечно. Но не остановился.

- Все бежали,- подавленно оправдывается Коханюк.

Он и сейчас не понимает, как же это так получилось: все бежали и все на месте, только они трое здесь. Но ведь и я, когда встретил в лесу первого раненого и он сказал: "Прет всей силой!.." - я услышал крики и близкую стрельбу по лесу и тоже на минуту поверил, что все отходят. Коханюк не врет. В тот момент он был уверен, он своими глазами видел, что все отходят. Когда смерть рядом, когда разрывы подгоняют - и не то увидишь. Но вот за это на фронте расстреливают на месте. Потому что не останови одного - и паника

перекинется на всех. Это так же, как взорвется один снаряд, и от детонации взрываются другие. Тут тоже что-то взрывается в мозгу, и люди видят то, чего нет. И бегут с потемненным сознанием. А после - стыд и ничего не могут понять.

Между стволов деревьев в небе стоит жаркое после дождя, дымное солнце. Пар идет от земли, от мокрой, потемневшей коры, от наших гимнастерок. В лесу еще пахнет порохом: ветер с поля согнал сюда дым разрывов,- но сладкий запах разогретой лесной малины пересиливает его. И нее после дождя яркое, молодое, свежее. Слепящий солнечный свет ломится меж стволов, и пронизанные им листья деревьев невесомо лежат на воздухе. А от ветки к ветке протянулась на солнце хрустальная паутинка; капли, сверкая, дрожат на ней.

После дождя и разрушений с особенной силой ко всему вернулась жизнь - и цвета и запахи. А на сочной, молодой траве, еще не помутневшими глазами уставясь на солнце, лежит убитый человек, и на его лице, от которого навсегда отхлынула кровь, сквозь желтизну все сильнее проступает синеватая бледность.

Никто никогда не упрекнет меня в его смерти. В каждой батарее, в каждом взводе может оказаться трус. Но Генералов не был трусом, я знаю это.

Нелегко отправлять человека на опасное дело, особенно если сам ты в это время не подвергаешься опасности. Тебе неловко перед ним, и, как бы облегчая его - а на самом деле себя одного только,- ты начинаешь сочувствовать. И этим сочувствием малодушно взваливаешь на него дополнительную тяжесть. Он уже сознает себя несчастным, как бы даже страдающим за кого-то другого. И в трудный момент, помня твое сочувствие, он пожалеет себя. И Генералов пожалел себя.

Я вижу его лицо, когда он, оставаясь на плацдарме, угрюмо выслушивал мои приказания и все повторял, что должны были прислать командира взвода восьмой батареи с запоминающейся фамилией, а вот прислали его, Генералова. Он не был трусом, он им стал. Он слишком долго просидел за Днестром, оттуда

наблюдал войну, а издали она всегда страшней. И вот позорно погиб.

Сидя на опушке леса под деревом, я вызываю тот берег, докладываю командиру дивизиона обстановку.

- Так какого же черта они молчали до сих пор?! - кричит Яценко: оказывается, у него уже несколько раз командир полка запрашивал обстановку, а он ничего не мог доложить.

Объясняю: Генералов убит, связь была прервана. Больше не объясняю ничего. Не к чему. У Генералова есть мать. Мать не виновата ни в чем. Пусть наравне со всеми получит извещение: "Пал смертью храбрых". Когда притупится горе, хоть это будет утешением ей.

- Ну так ты смотри теперь! - предупреждает Яценко, словно от меня зависит, чтоб обстрел не повторился. И торопится закончить разговор. Он доволен, что я уже здесь, что связь восстановлена, а главное, доволен, что может наконец доложить обстановку командиру полка. И спешит поэтому.

Пока я говорю по телефону, Синюков под громкие охи Мезенцева стаскивает с его ноги сапог, разматывает мокрую портянку. Щиколотка действительно распухла. Мезенцев сидит под кустом, упираясь руками в землю. Нога поднята вверх, она выражает укор мне. Синюков без всякой брезгливости держит в своих руках его мокрую ступню с грязными, давно не стриженными ногтями на искривленных пальцах, ощупывает ее с интересом: ему бы санитаром быть. И, не предупредив, вдруг дергает сильно. Задохнувшись от боли, с расширенными зрачками, Мезенцев хватается за свою ногу, лезет по ней вверх, хватается Синюкова за руки. Но постепенно ужас и боль в его глазах сменяются чем-то другим, робким, похожим на изумление. Он еще не верит, но боли уже нет. Без сил он сидит на земле. Синюков, довольный, свертывает над ним папироску. Работа сама говорит за него. Кажется, они собрались сидеть тут до вечера. Мезенцев на правах пострадавшего греет босую ногу на солнце и все не налюбуется на нее.

- Пошли! - говорю я.

Синюков сразу мрачнеет. Гасит папироску.

- Куда же идти, товарищ лейтенант? - басит он угрюмо, глядя под ноги себе и почему-то особенно выделяя "товарищ лейтенант". - Белый день, он сейчас увидит - из минометов начнет швырять.

Тогда Мезенцев тоже подает голос:

- У меня вывихнута нога! Я не могу надеть сапог!

В голосе его дрожат слезы: все видели, как он страдает, все видят, какая несправедливость с моей стороны. Я ничего не говорю. Я только смотрю на него, и он надевает сапог. Коханюк взваливает на спину тяжелую катушку. Напрягая шею его становится еще тоньше. Катушку эту должен бы нести Мезенцев, но Коханюк ничего не говорит. Оглушенный всем случившимся сегодня на его глазах, он вообще ничего не говорит и готов идти, куда будет приказано: хоть назад, хоть вперед.

Мы сначала идем, потом перебегаем, потом бежим, рассыпавшись. Обстрел застигает нас на болоте. Мины с чавканьем рвутся между кочками, обдавая вонючей грязью. Горячие осколки шипят в воде. И каждый раз, падая от мины в воду, я приподымаюсь на руках после разрыва, смотрю, целы ли Синюков и Коханюк. Гнев мой уже давно остыл, и меня грызет сомнение: может быть, и в самом деле надо было переждать до вечера? Конечно, умели бежать, умеете возвращаться. Но у Синюкова дети. Не помню сколько, много что-то. Они ведь ни при чем.

Мезенцев не может бежать, и его тащат поочередно под руки. Всю войну играл на валторне, и даже теперь мы под руки ведем его воевать. В первой же воронке я приказываю бросить Мезенцева:

- Стемнеет - по связи придете!

Последние метров тридцать - пустое, голое, со всех сторон открытое место - проскакиваем пулей по одному: Синюков, я, Коханюк. Бегу, вжав голову в плечи. В кукурузе прыгиваю в щель на кого-то.

- Поосторожней!



Человек зло ворочается подо мной. Высвободился. Рядом с моим лицом - его лицо. Неприятное лицо. Толстые щеки, узкие недобрые глаза, до черноты прокуренные мелкие зубы. На нем немецкая пятнистая куртка - разведчик, конечно.

- Квартирантов тут не требуется!..

Мне, чтоб ответить, надо прежде отдышаться. Сверху свешиваются еще ноги, зад - Коханюк вместе с катушкой плюхается на дно окопа. Становится тесно. Сдавленный нами разведчик в углу мокрыми бинтами завязывает руку. Пуля прошла ему по пальцам. Один оторвала совсем, другой висит на коже и на мясе, еще два задеты только.

- Ты бы прежде, парень, спросил, в чьем окопе сидишь. Кто его рыл ночью? - говорит Синюков. Стоя на коленях, он откапывает засыпанный землей телефонный аппарат. Пробует продувание, вызывает тот берег. Связь есть.

- Хозяева, значит, вернулись,- презрительно подводит итог своим наблюдениям разведчик.- Далеко бегали?

- Далеко, парень, далеко,- добродушно басит Синюков. После того как мы побывали под обстрелом, он заметно повеселел.- А палец этот, гляжу я, тебе уж ни к чему.

- Тебе, что ли, отдать?

Синюков с профессиональным интересом наблюдает, как разведчик пытается прибинтовать оторванный палец. Меня отчего-то знобит. Солнце еще жжет сильно, а я никак не могу согреться. Наверное, оттого, что все на мне мокрое. И глазам больно глядеть на свет.

- Нет, парень, не мучься,- решает Синюков.- Самое лучшее тебе его отрезать. Хочешь - могу!

Разведчику жалко палец. Он все смотрит на него.

- Говорят, срастается кость. Если сразу на место приставить... Не до этого было. На мины мы напоролась на нейтралке. Тут он из пулеметов полосанул... Я и не заметил вгорячах. После уж гляжу - такое дело... У нас

случай был: тоже вот так палец оторвало. Но он сразу успел. Ничего, срослась кость. Главное дело, сразу успеть.

- Сразу! У нас лучше был случай: голову человеку оторвало. А он, не будь дурак, схватил ее и - обратно на место тем же манером. Прибегает в медсанбат, рукой придерживает. Там ему все как полагается пришили - приросла. Так до сих пор носит. Одно плохо: зубы дергать нельзя. Говорит, с зубами можно голову оторвать напрочь.

- Про себя рассказываешь?

- А что, заметно?

Они вместе осматривают палец. Синюков трогает его.

- Ну? Давай?

Разведчик думает, потом решается вдруг:

- Ладно. Сразу только. Мою финку бери, она острая.

Синюков с улыбкой - учи, мол! - достает свой нож, вытирает лезвие о штаны. К операции он приступает не спеша. Разведчик не отворачивается, держит руку. Чик! - и нет пальца, и Синюков уже бинтует ему кисть.

Неожиданно Коханюка начинает рвать. Он стоит на коленях в углу, руками и лбом упирается в стенку окопа. Его выворачивает наизнанку. Мы не смотрим в его сторону. Разведчик презрительно кривит губы.

Потом, бледный, зеленый, с глазами, мокрыми от слез, Коханюк лопаткой вычищает из окопа позорные следы своего малодушия. Синюков и разведчик, словно породнившись, сидят рядом, курят, поглядывая друг на друга. Дым сплетается над их головами, тает в кукурузе. Много времени должно пройти, ко многому Коханюк притерпится, пока выйдет из него солдат.

Меня знобит уже так, что стучат зубы. И ногти на пальцах синие, и глаза болят - поднять невозможно. А когда потягиваюсь, ноют сладко все мускулы. Укрыться бы сейчас с головой и дышать себе на руки. Но шинель моя, которую я оставлял Генералову, на дне окопа втоптана в жидкую грязь. Она теперь два дня будет сохнуть. Я сижу, сжавшись, пытаюсь согреться во всем мокром. Лечь

даже нельзя: окоп залило дождем.

- Малярией прежде не болели, товарищ лейтенант? - спрашивает Синюков.

Я уже и сам знаю, что это - малярия. Нет, прежде я не болел ею. Но здесь все переболеют. Потому что мы сидим в низине, а немцы на буграх. У них там на ветру и комаров нет.

- Да-а,- многозначительно вздыхает Синюков.- Кто не был здесь, тот побудет. А кто был, тот... не забудет.

Потом он лопаткой выкидывает из окопа грязь, пока не обнажается сухое дно. И я ложусь и, закрыв глаза, пытаюсь согреться. Я даже дышу с дрожью. Ладони я зажимаю между ног. Пальцы - так замерзли, что занемели. А глаза горячие. Укрыться бы!..

Просыпаюсь от духоты, весь в поту, словно меня завалили подушками. Скидываю с себя чью-то шинель.

Над низиной, над мокрым после дождя полем - розовый туман. Солнце спустилось за высоты, и он подымается все выше. В кукурузе тоже туман, так что видно шагов на сорок, не дальше.

Я долго пью из фляжки противно теплую воду. Чьи-то маленькие хромовые сапожки качаются на весу, постукивают каблуками о стенку окопа. Скошенным глазом я слежу за ними. Потом подымаю глаза вверх. Колени, натянутая юбка, портупья косо через грудь... Рита! Младший лейтенант с родинкой! Сидит в своем синем берете на бруствере окопа, независимая, улыбается и качает ногами.

- Принимай акрихин, болящий.

И, порывшись в сумке, протягивает мне на розовой ладошке две ядовито-желтые пилюли. Я беру их с ладошки губами. И пока запиваю водой, Рита пробует мой лоб. Мне неприятно, что лоб у меня потный, липкий, а она его своей рукой трогает.

-- Ты теперь здесь будешь? - спрашиваю я.

Рита как-то странно улыбается, отвечает не сразу!

-- Здесь...

## ГЛАВА VI

Странная тишина стоит на плацдарме вот уже третью ночь. Последний раз ровно трое суток назад отгрохотал залп "катюши". Огненные кометы стремительно пронесли под звездами в сторону немцев, и там долго рвалась и дрожала земля, а дым, освещенный снизу, стеной подымался за высотами. Потом свет погас, смолкло все и установилась тишина.

Обычно перед вечером, когда отяжелевшее солнце садится в пыль, у нас начинается приступ малярии. Потом, вымученные, слабые, с болезненным блеском в глазах, мы вылезаем ночью из окопов и слушаем эту непривычную тишину.

За время войны в нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, но показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились тесно, стояли, упершись лоб в лоб, без корма, без питья и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности.

Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи, приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность, внезапная тишина на фронте настораживает нас. В такие моменты мы тесней держимся друг к другу. И роем, роем, каждую ночь глубже зарываемся в землю.

В эти ночи мы сдружились с Никольским. Всякий раз, когда стемнеет, он приходит сюда, и мы разговариваем, а чаще он что-нибудь рассказывает, а я лежу на шинели, слушаю и смотрю на звезды. В первый год на фронте у меня тоже была сильна эта потребность перед кем-то раскрыть душу. Я мог влюбиться в человека, который терпеливо слушает меня. Сейчас я больше люблю слушать. Хороню так слушать и думать о своем.

Я сижу на земле, поджав под себя ноги (этому я научился у Парцвани), и

курю в рукав. Где-то фыркает лошадь в тумане, слышны приглушенные голоса солдат. Слова доносятся неразборчиво. Я люблю эти ночные приглушенные солдатские разговоры, хриловатый голос между двумя затылками, запах махорочного дыма. Меня почему-то волнуют они, как хорошая песня. Ведь и песня дорога не сама по себе, а тем, что связано с нею. Часто - дорогими воспоминаниями. Можно забыть все, годами не вспоминать о пережитом, но однажды ночью по степной дороге промчится мимо грузовая машина с погашенными фарами, и вместе с запахом пыльных трав, бензина, вместе с обрывком песни и ветром, толкнувшим в лицо, почувствуешь вдруг: вот она промчалась, твоя фронтовая юность. И снова все ярко встанет перед глазами, потому что это уже в крови на всю жизнь...

Никольский приходит в тот же час, что и вчера. Он вообще аккуратен.

- Мотовилов?

- Я.

Заслонив звезды, он останавливается надо мною в наброшенной шинели с погонами, отчего кажется с земли высоким и широкоплечим. Шинель он никогда не застегивает - его издали слышно, если идет по кукурузе, - носит ее на плечах, как Чапаев носил бурку. Это по молодости лет. Между нами, правда, разница - год, но я уже воюю три года.

Никольский садится рядом на землю, аккуратно подобрав шинель. Он бережет ее: это первая его шинель и вдобавок офицерского покроя. Наверное, хочет привезти домой: "Вот в этой шинели я прошел войну!.." Я тоже когда-то хотел сохранить шинель, в которой первый раз был ранен. Вся пола ее и рукав были ржавые от моей крови. Потом я хотел сохранить плащ-палатку, пробитую двумя пулями как раз у меня между ног. Потом еще что-то берег... Все это проходит.

- А ты желтый стал от акрихина, - говорит Никольский и смотрит на меня ласковыми глазами. Наверное, он был хороший сын у матери. Отзывчивый, честный. И соседки, наверное, хвалили: "Такой вежливый!.." Со своими бойцами

Никольский на "вы".

- Знаешь,- сообщает он новость,- в двести двенадцатом, левей нас, вчера "языка" взяли. Тащили его через нейтралку,- по голосу слышно, что Никольский улыбается,- а пехотинец-узбек в окопе сидел. Заснул он или испугался - вдруг стрельбу открыл. Всю очередь всадил в немца. Ночь же, не видно ни...

Тут он лихо произносит короткое ругательство, которым на фронте выражают многие оттенки чувств, даже восхищение, если настроены добродушно. Но почему-то, когда произносит это слово Никольский, становится неловко. И неловко за него, что он не чувствует этого. А Никольский не чувствует и говорит волнуясь:

- Командир полка, когда узнал, за голову взялся. Еще хорошо, успели этого пехотинца под стражу взять, а то бы разведчики ухлопали его тут же. Они пока лазали за "языком", одного потеряли. Говорят, будут судить его. Как думаешь, что могут дать?

Он некоторое время ждет ответа, потом говорит, призвав все свое мужество:

- Я думаю, могут расстрелять!..

И я замечаю, что глаза у Никольского испуганные. Я ложусь на шинель лицом вверх. А черт его знает, что могут дать! Если бы я вот так лазал за "языком"... убить можно. Тут многое зависит от командира полка. И от обстановки. Судят ведь не за один проступок, а еще за то, в какой обстановке он совершен. В прошлом году при мне расстреляли перед строем младшего лейтенанта. Со своим взводом он сидел в боевом охранении. Подползли немцы, забросали гранатами. Он отбивался, пока мог. С тремя бойцами, оставшимися в живых, отошел. Не отошел бы - остался там. Он был не хуже и не трусливей других. Его расстреляли в пример другим. Потому что была тяжелая обстановка и был приказ: "Ни шагу назад". Случись это в другой обстановке, жил бы он до сих пор.

Никольский еще что-то говорит об этом солдате, но я уже не слушаю. Лежу

и смотрю в небо. Какие стоят ночи! Теплые, темные, тихие южные ночи. И звезд над головой сколько!.. Я читал, что в нашей Галактике примерно сто миллиардов звезд. Похоже на это. Наклонишься над бомбовой воронкой, а они глядят на тебя со дна, и черпаешь котелком ржавую воду вместе со звездами.

Еще месяц назад - садится солнце, а в небе обрывком белого облака уже высоко стоит луна, постепенно разгораясь и желтея. Теперь ночи стали заметно длинней. А когда немецкий снаряд разрывается за Днестром, в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы. Мы пришли сюда - они еще только-только зацвели. И уже поспевают виноград, и уже замечено, что от него чаще приступы малярии. Сколько нам осталось здесь таких тихих ночей?

У землянки Бабина поют на два голоса. Это горбоносый командир второй роты Маклецов и Рита. Сам Бабин не поет; если зовут его, стеснительно улыбается: у него нет слуха. Но песни любит. Они поют "Темную ночь". Я не могу слушать ее спокойно.

Темная ночь.

Только пули свистят по степи,

Только ветер шумит в проводах,

Тускло звезды мерцают...

Я чувствую, как песня теплой рукой берет меня за горло. Уже несколько раз я давал себе слово не ходить к Бабину. На другую ночь после того, как я вернулся на плацдарм, я по привычке пошел к комбату. Около землянки телефонист, с которым он обычно играл в шахматы, рыл себе отдельную щель: у Бабина была Рита. Оказывается, она и есть та фельдшерица, которая высаживалась с ним вместе на плацдарм и ухаживала за ним, когда его ранило. И еще я видел случайно, как Бабин снимал с ее ноги сапог. Целый день и полночи Рита лазала по передовой: у каждых трех из пяти пехотинцев - малярия. Вернулась вся в глине, охрипшая от усталости. Бабин посадил ее на

нары, сам ухаживал за ней, снимал сапоги. он размотал множество навернутых одна на другую портянок - в них была маленькая босая нога с розовой ступней и розовыми пальцами. Бабин ладонью обтер ступню и, держа ее в руках, улыбнулся, словно это была нога ребенка. А Рита, не стесняясь его, сидела усталая, добрая, и было ей хорошо - это я почувствовал сразу. Даже сейчас, вспомнив, я заерзал на шинели, поспешно достал табак.

- Знаешь,- говорит Никольский, тоже слушая песню,- до армии была у меня девушка. Хорошая девушка. Мы учились с ней вместе...

Я глубоко затагиваюсь несколько раз подряд. У меня тоже до войны была девушка. Женя Астафьева. Она была хорошая физкультурница. Синее трико, синяя обтягивающая майка, голубенький поясок. Фигура как у мальчишки. Почти никакой груди, и высокие, золотистые от загара, сильные ноги бегуньи. У нее были глаза немного навывкате, близорукие и от этого как бы затуманенные. Очки носить она стеснялась.

Женя жила на краю города, за военным городком, за еврейским кладбищем. Там росли старые дубы, и окрестные жители - большинство их недавно переселилось сюда из деревни, перевезя избы,- в воскресные дни, одевшись ярко, шли на кладбище с гармонью, как в парк. Сидя в траве среди могил, выпивали поллитровочку, парни лапали девок - покойники на это не обижались. И наверное, не один будущий житель Воронежа был зачат здесь, среди могил, в мирном соседстве с покойниками.

После уроков - мы учились во вторую смену - я шел провожать Женю. Вначале мы шли по асфальту, мимо ярких витрин магазинов, потом по булыжнику, блестящему под одиноким фонарем, потом по пыли вдоль деревянных заборов, за которыми, распирая их, росла сирень. Здесь уже не горели фонари, на углах улиц стояли водопроводные колонки - зимой вокруг каждой намерзал ледяной бугор, так что самой колонки не было видно,- а ставни на окнах и зимой и летом закрывались рано. Я провожал Женю темными улицами и мечтал, чтоб на нас напали: в то время я занимался боксом. Но взять Женю под руку я так и не



смог решиться; мы обычно шли независимые друг от друга, в левой руке Женя размахивала отцовской полевой сумкой. Однажды на уроке и написал Жене по-английски: "Ай лав ю". Написать по-русски: "Я люблю тебя" - было слишком страшно. Ее ответ я долго переводил со словарем. Вышло что-то странное: "Всякому овощу свое время". Несколько дней после этого я не провожал ее домой. А потом все пошло по-старому.

Я не знаю, где сейчас Женя. И если признаться, я даже плохо помню ее лицо. Почти не вижу его. Но я много раз мысленно ходил по улицам своего зеленого Воронежа. Трехэтажный проспект Революции с веселыми звонками трамваев, синими молниями, вспыхивающими на проводах, двумя потоками людей, до поздней ночи движущихся под деревьями навстречу друг другу, шаркая по асфальту одной огромной подошвой. Ярко освещенный подъезд ДКА - Дома Красной Армии, глаза девушек, празднично блестящие в свете огней, звуки военного оркестра из парка. И всегда у входа в парк - цветы. Вначале связанные ниткой тонкие пучочки ландышей, потом сирень, пышные букеты, потом розы - они стояли тут же на асфальте, в ведрах с водой и обрызганные водой, и парни дарили их девушкам. Ни в одном городе я не видел столько цветов. Ни в одном городе летними вечерами улицы не пахнут так табаком и петуньями. А может быть, это потому мне кажется, что Воронеж - мой родной город? В Кольцовском сквере каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год, число и месяц. Потом пришли немцы, и время остановилось.

Мы любили с Женей перебегать обкомовскую площадь посредине, где это почему-то не разрешалось. Торжественная и пустынная, она блестела вечером под фонарями; с одного края - ее все в электричестве здание обкома с черными мраморными колоннами, с другого - кирпичный недостроенный театр за деревьями. Отсюда к маслозаводу шла улица, как туннель: деревья над головой смыкались с домами, и балконы второго этажа были посреди зелени.

А под деревьями стояли парочки и, затихнув, ждали, пока мимо них пройдут... Их нет теперь, этих улиц. После войны отстроят новый город,

родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые,- того города уже нет. Он погиб под бомбами, взорван немцами при отступлении и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид зданий, они не передают то, что знали в нем и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовется то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснешься воспоминания. Очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь. И с каждым новым поколением рождается новая.

- ...Понимаешь,- говорит Никольский,- пришла она провожать меня на вокзал. Чистая такая, широкий белоснежный воротничок на платье, глаза ясные, чистые. И двух братьев за руки держит. Принаряженные мальчики. Словно ничего не случилось, словно и войны нет. А тут солдаты. Девушка-санинструктор в красноармейских засаленных штанах пробежала с котелком, так глянула на Наташу, на ее белый воротничок, на братьев, что мне стыдно стало. А Наташа как будто ничего этого не видит, смотрит на меня спокойными, ясными глазами. Может быть, я все это наивно говорю. Но когда я увидел, как санинструктор подбежала к теплушке, а оттуда сразу протянулось к ней, наверное, двадцать солдатских рук... Я не знаю, как объяснить тебе, но только это и есть самое главное в жизни. Я гордился бы, если бы к Наташе вот так же радостно протянулись руки. А она чужая была там среди всех и, главное, не тяготилась этим. Мы говорили до войны: порядочность, честность. А ведь на фронте эти понятия совсем иначе выглядят. Я тебе правду скажу: с Наташей мы даже не целовались. Ни разу. И никому она не позволяла себя целовать, я знаю. Но я думаю: смогла бы она быть на фронте, как та девушка-санинструктор, как Рита? Ведь в этом сейчас вся порядочность и честность. И для меня это сейчас главное в человеке.

Он, пожалуй, красив: высокий лоб, курчавые виски, длинные пальцы

одаренного человека. И рост хороший. Но было бы легче, если б не Бабин нравился Рите, а вот он...

За спиной Никольского постепенно светлеет: что-то горит на левом фланге. Меж стеблей становятся видны комья земли, освещенные с одной стороны. Свет пожара мешается с лунным светом. И хорошо в тишине слышны голоса Риты и Маклецова.

Мне хочется, чтобы Никольский ушел, а он сидит и смотрит на меня.

- Как думаешь,- немного погоди спрашивает он,- будет немец сегодня наступать?

Каждую ночь на плацдарме, когда расходятся спать, кто-нибудь вслух спрашивает об этом. Ведь наш плацдарм - полтора километра по фронту, километр в глубину, а позади - Днестр. И мы стали немного суеверными. Как правило, мы не говорим наверняка: "Нет". На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим: "А черт его знает". Но сегодня у меня плохое настроение.

- Ни черта он не будет наступать! - говорю я.

Он сидит еще некоторое время и уходит наконец. Тогда я иду к Бабину.

Горбоносый Маклецов в своей фуражке на затылке сидит боком на бруствере с гитарой, наигрывает что-то неопределенное. Бабин обнял здоровое колено, с закрытыми глазами посасывает короткую трубочку. У ног его, положив морду на лапы,- овчарка. Когда я подхожу, она приоткрывает один глаз и снова закрывает его. Я здороваюсь, сажусь. Рита внезапно потянулась всей спиной, портупея косо врезалась в грудь.

- Хорошо здесь, комбат. Даже воздух другой. Знаешь, если долго лежать в госпитале, в самом деле заболеть можно. Я видела таких: на фронте водку хлестали, а там у них язва желудка открывается. Один погиб смертью храбрых от воспаления легких. В войну! - У Риты зябко поежились полные плечи.- Помнишь, у Островского Аркашка Счастливец рассказывает, как жил у родственников: в час обедают, после обеда спят до пяти, потом чай пьют со

сливками. И мысль: а не повеситься ли?

- А чего, правильно,- оживился Маклецов.- Это я по себе лично знаю. У

нас в палате один лейтенант...

Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь одними глазами, спросил:

- Обожди, Маклецов, ты "Лес" читал?

- Я за войну ни одной книги не прочел,- сказал Маклецов с достоинством.

- Ну это тебе полагалось еще до войны прочесть.

- А раз полагалось, значит, прочел.

- Все-таки: читал или не читал?

- Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете!

Лес. Я в сорок первом году в окружении в таких лесах воевал, какие тому

Островскому сроду не снились!..

Бабин смотрел на него, любуясь. И вдруг захохотал от души.

- Да нет, в самом деле,- растерялся Маклецов, оглядываясь за поддержкой на меня и на Риту.- Я в этих лесах ревматизмом на всю жизнь запасся, а вы мне Островским глаза колете.

- Молодец,- сказал Бабин.- Вот за это тебя ценю.

Маклецов окончательно растерялся.

Из землянки вышел начальник штаба капитан Зыбуновский, в суконной фуражке, в шинели, застегнутой на все пуговицы, с замкнутым выражением лица. Сел, передвинув полевую сумку на живот, достал какие-то сведения. Сразу стало скучно.

- В роте у Кондакова все больны малярией.- Он поднял глаза на Риту и опустил.- В роте у Маклецова,- Зыбуновский посмотрел на гитару, которую держал Маклецов,- осталось не более пяти здоровых...

- Можете не подсчитывать,- оборвала Рита; при виде Зыбуновского у нее в глазах появляется электричество.- Эти пять тоже заболеют. Если их не убьет прежде.

Станный человек Зыбуновский. Добросовестный очень, исполнительный на

редкость, сам лазает по передовой, подвергая себя опасности. Вдобавок от малярии у него что-то с печенью, и он страшно мучится. И все же не дай бог быть под его командованием! Есть люди, которые всю жизнь борются с беспорядком в мелочах. Заметит Зыбуновский какой-нибудь беспорядок - и страдает, и зудит, и зудит, и борется. А то, что война идет, этого он как будто даже не замечает.

- Непонятная постановка вопроса,- говорит Зыбуновский терпеливо.- Я не медик, но я тоже мог бы сказать; "И эти заболеют". Но я так не говорю, потому что мы обязаны бороться с малярией.

- А я говорю! От малярии лекарство одно: перемена места. Ясно вам? Возьмем эти высоты, двинемся вперед - забудем про малярию.

Зыбуновский ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги. Сказал тихо, как всегда, когда на него повышают голос:

- Этой задачи командование сейчас перед нами не ставит. А с малярией мы должны бороться имеющимися у нас средствами. Есть акрихин, есть, видимо, еще какие-то лекарства...

Рита спросила:

- Вы женаты, Зыбуновский?

- Я не понимаю, при чем тут моя жена,- помолчав, сказал Зыбуновский совсем тихо.

-- Жалко мне ее, вот что.

Зыбуновский сложил бумаги, встал:

- Я могу уйти?

Бабин, который все это время посасывал трубку, опершись широким подбородком о колено, приоткрыл один глаз. Он остро блеснул.

- Вот человек,- сказала Рита, когда начальник штаба ушел.- Обязательно перебьет настроение. Спой, Афанасий,

- Это я могу.

И Маклецов, закрыв глаза, сильнее зазвенел струнами. Запел он, конечно,

свою любимую, про то, как "оба молодые, оба Пети, оба гнали немцев по полям".

И один снарядом был контужен,  
И гранатой ранен был другой,  
Завязали бинт ему потуже,  
Чтобы жил товарищ дорогой.

В этом особенно жалостливом месте Маклецов даже сфальшивил от усердия.

- Афанасий! - крикнула Рита, показав на свое маленькое ухо.

- Я тоже заметил,- сказал Бабин, обрадовавшись и боясь, что ему не поверят.- Честное слово, слышал. Вот в этом месте.

Он хотел пропеть, но было тихо, все смотрели на него, и он смутился:

- Ну вас к черту! .

- Разрешите доложить, товарищ комбат? - Рита сидя козырнула, приложив руку к своему беретику.- Ничего такого вы слышать не могли по причине полного отсутствия слуха.

- Ладно,- сказал Бабин.- Вольно!

Но самолюбие его было задето. Я все время присматриваюсь к Бабину. Малярия здорово высушила его. Лицо стало жестче, виски запали. Особенно плечи похудели и руки с широкими запястьями. Он просто некрасив сейчас. Я ловлю себя на том, что мне это приятно. И отворачиваюсь. Ведь есть же в нем что-то, чего нет во мне!

- Давай, Афанасий, грустную споем,- говорит Рита.

Мне тоже отчего-то грустно. Может, оттого, что она рядом.

Вздыхнув, Рита поет негромко, а Маклецов мягко вторит ей:

Чорнії брови, карії очі,

Темні як нічка, ясні як день...

Она сидит напротив меня на бруствере, свесив ноги в коротких сапожках, зажав руки в коленях. Глаза, затуманенные песней, влажны. Я не знаю, хороши ли голос у Риты, только что-то происходит в душе у меня.

Ой, очі, очі,

Очі дивочі,

Де ви навчились вводити людей?..

Может быть, это ночь виновата южная, может, песня, но скажи сейчас отдать жизнь - отдам с радостью!

Маклецов ладонью зажимает вдруг струны, и я слышу приближающееся к нам тяжелое дыхание двух людей и шуршание плащ-палатки о стебли.

В плащ-палатке, расширяющейся книзу, - офицер, невысокий, в фуражке. Сопровождает его солдат с автоматом и вещмешком за плечом. Подойдя, офицер обжегал всех глазами, остановился на Бабине.

- Комбат Бабин?

- Бабин.

- Будем знакомиться. Брыль. Прибыл к тебе замполитом.

И, козырнув, подал руку. Бабин пожал ее, не вставая. Овчарка все время следила, подняв голову с лап.

- Учти, - сказал Бабин смеясь одними глазами, и вытер мундштук трубки, блестящий от слюны, - три замполита было у меня. Трех пережил.

- Учту, - сказал Брыль. - Нарочно надуюсь и переживу тебя. Особенно если покормишь.

И улыбнулся широким ртом, обнажив мелкие, тесно составленные зубы. Он явно понравился Бабину. Есть безошибочный барометр: ординарец комбата Фроликов. Обычно прижимистый по части продуктов, он вдруг появился словно из-под земли, осчастливил всех улыбкой и побежал готовить ужин.

Брыль кладет на землю шинель, которую до этого нес на руке под плащ-палаткой, кивает автоматчику, и тот ставит на землю вещмешок.

Здороваясь с Ритой, он опять козырнул:

- Брыль.

Среди нас, желтых от малярии, он, полнокровный, выбритый, свежий, выглядит человеком из другого мира.

- На плацдарме еще не были, товарищ капитан? - спросил Маклецов, присматриваясь к нему.

- Не был. А что?

-- Значит, еще заболете малярией,- сказал Маклецов удовлетворенно.

Я встал.

- Ты куда, Мотовилов? - окликнул Бабин.

- Кто Мотовилов? - Брыль быстро обернулся.- Ты?

- Я.

- Ну вот видишь, вполне мог забыть.

Передвинув на колено полевую сумку, туго набитую, как у всех политработников, он достает два письма-треугольничка:

- Держи!

И пока он достает их и отдает мне, все смотрят на его полевую сумку и ждут. Но больше никому писем нет.

- Оставайся,- говорит Бабин.- Ром есть.

Я чувствую на себе взгляд Риты. Мне хочется остаться.

-- Спать пойду,- говорю я, зевнув для убедительности. И иду к себе, один под звездным южным небом. А в душе все еще звучит: "Ой, очі, очі, очі дівочі, де ви навчились зводити людей?.."

## **ГЛАВА VII**

Оба письма от матери.



"Сыночка! Утром искала я какую-то справку, и попалась мне твоя фотография. Ты, трехлетний, в рейтузах, сидишь на игрушечном коне и ручонками вцепился в гриву. Словно вчера это было, так ясно помню я этот зимний день, и сугробы, и как я вела тебя фотографироваться. Ты еще не хотел надевать варежки, я держала твою руку в своей. Такая она была мягкая, теплая! И вот ты уже на войне... Всю ночь ты мне снился маленький, гладил меня ладошками по щекам, и я проснулась в слезах. Береги себя, родной!.."

А дальше коротко о себе: "Здорова... обо мне не беспокойся. Работы сейчас на здравпункте много. Да это и хорошо: пусто дома без вас. Я очень сдружилась с моей санитаркой Анной Саввишной. У нее тоже сыновья на фронте. Мы и едим вместе. После приема Анна Саввишна кипятит чай..."

Чем старше я становлюсь, тем почему-то чаще и чаще вспоминаются мне обиды, которые причинил я матери. В восьмом классе мы уже относились к ней снисходительно. Мы спорили с братом о прочитанных книгах, и, если мать иногда пыталась вставить слово, мы вежливо умолкали. Она терялась; "Может быть, я не понимаю..." - "Ты-таки не понимаешь, мама",- говорили мы покровительственно и казались себе в этот момент очень умными. Она мало читала. Но мы прочли эти книги потому, что у нее не было времени читать их: она работала на нас. Одна, она растила нас двоих на свою зарплату зубного врача.

Мне было девять лет, когда от фабрики, где мама работала на здравпункте, дали нам комнату в большом шлакобетонном доме, как раз над аркой, так что зимой пол был всегда у нас холодный. Прежде здесь помещалась какая-то контора, и когда мы переехали, пахло в комнате пылью, окурками, чернилами, дощатый пол был в чернильных кляксах, а стены на уровне спин вытерты и замаслены до черноты. Мама позвала женщину, вдвоем с ней белила потолок, разведя клеевую краску с мукой, красила стены: это было дешевле, чем звать маляра. Стоял ноябрь, земля уже замерзла, но снег не выпал, от этого было еще холодней. Мама часто выбегала на улицу раздетая, потная и

простудилась. Она сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Приходили врачи, приходили родственники, и как-то я услышал случайно, что боятся кризиса, потому что она сильно истощена и может не выдержать.

Удивительно, как в девять лет я ничего не понимал. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы, несколько человек, делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся сказать. Хорошо помню, как я подумал в тот момент; если мама умрет, никто в школе не станет требовать у меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы. В груди у нее все клокотало и хрипело. При странном свете с пола, от которого все тени были на потолке, она казалась непохожей на себя. Лицо было в тени, блестели только влажный лоб, скула и худые ключицы. А на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболел, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало. Я убежал на кухню, стал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки, и молился. Впервые в жизни молился. "Господи, родной, дорогой, не нужно!.. Любимый господи, сделай, чтоб мама не умерла!.. Пусть меня ругают за рамку, только чтоб она не умирала!.."

То ли мы стали взрослыми, то ли мать наша постарела, но мне отсюда она кажется маленькой, нуждающейся в моей защите. Я вижу, как они сидят с санитаркой вечером на здравпункте, две матери, у которых сыновья на фронте. Лампа свешивается на фарфоровом блоке (в детстве мне все хотелось высыпать оттуда свинцовую дробь), множество никелевых щипцов в стеклянном шкафу, и запах лекарств и гвоздики. Они пьют кипяток с пайковым сахаром и пайковым хлебом - четыреста граммов хлеба на день.

Мне не забыть, как в сорок втором году на Северо-Западном фронте возвращался я из медсанбата в полк. Держался еще морозец, но в небе стояло весеннее солнце, и воздух был весенний, и таяло на припеке. Где-то в районе

Бологого увидел я лагерь пленных. Колья, колючая проволока, размешанная ногами грязь со снегом. А около проволоки, повесив винтовку на плечо, часовой вдвоем с немцем разматывал веревочку, и оба смеялись, и немец на морозном воздухе откусывал хлеб и прятал его в карман. Я вдруг закричал на часового. Уже не помню что, помню только, он испугался: "Ты чего? Ты чего?" - и стал подгонять немца в глубь лагеря, оглядываясь на меня как на бешеного: его война не коснулась.

Всякий раз после этого, когда я видел сожженные деревни, расстрелянных людей наших, находил в карманах убитых немцев фотографии повешенных, мне вспоминался этот смеющийся немец, откусывающий хлеб. Мать моя получает по карточке хлеба столько же, сколько и он: четыреста граммов.

Когда мы вернемся с войны, ты не будешь работать. Мы посадим тебя за стол... Я не знаю, где это будет, потому что и дом наш разрушен бомбой. Но мы посадим тебя за стол и будем сами ухаживать за тобой и подавать тебе. Ты достаточно поработала на нас в жизни, теперь будем работать мы, взрослые твои сыновья.

При свете карманного фонарика я дочитываю на колене второе письмо. Сквозь строки - тревога за меня. Как война изменила все понятия! Бывало, стоило заболеть одному из нас - и сколько волнений, страхов. А вот сейчас старший брат ранен, четвертый месяц лежит в госпитале, и матери спокойно за него. Больно, ранен, но - жив! А я на фронте. И все тревоги за меня.

Родная моя! Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах. Одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей. Ежемесячно сотни таких, как я, выпускают училища, сотни нас убивают на фронтах. Когда планируется крупная операция, заранее учитывают неизбежные потери. Об этом нельзя не думать, хотя люди эти еще живы, это нельзя не учитывать, потому что без точного расчета нельзя воевать. И уже заранее, до начала операции, известно - примерно, конечно, не с точностью до единиц, - сколько будет убито в этих боях, сколько отвезут в госпитали, сколько потом

снова вернется в строй. А вместе с тем, как любая из этих единиц, я - это только я, и никто больше. лейтенанта Мотовилова, выпущенного в таком-то году Вторым Ленинградским артиллерийским училищем, можно заместить на должности командира батареи другим выпускником училища, и тут не будет никакой беды. Но меня, рожденного тобою на свет, не заменит тебе ничей сын. Пусть он лучше, способней, умней - я тебе вот такой дорог. Меня мог бы заместить на земле и в твоём сердце мой сын. Но если убьют меня, его не будет. Пуля, убивающая нас сегодня, уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь.

Нас миллионы сыновей у нашей родины, готовых отдать за нее жизнь. Смерть одного из нас в бою - не смертельная для нее потеря. Но у тебя нас только двое. И все же я не хочу себе судьбы, отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души. Я знаю, ты поймешь это.

Передвинув пистолет на живот, я ложусь на нары, на свежие хрустящие кукурузные стебли. Только вчера кончили строить эту землянку, и все в ней еще не обжитое. Жирно блестят непросохшие глиняные стены со следами лопат, на косо срезанном корне выступили капельки воды. А от бревен наката, которые еще вчера ночью были деревьями, пахнет свежей древесиной. Весь потолок заслонила черная тень от головы Коханюка. С телефонной трубкой, привязанной к голове, он коленями стоит на соседних нарах, топит над свечой сало, сонными глазами глядя на огонь. Сало трещит, брызгает синими искрами, черные от копоти капли падают в плошку, и пахнет в землянке жареным.

Я переворачиваюсь на другой бок. Снять, что ли, сапоги?

Упираясь носком в задник, я поочередно стягиваю их до половины: когда нога в голенище, подъем не жмет. Поправив под щекой полевую сумку, с головой

укрываюсь полою шинели, чтоб свет копилки не резал глаза.

Мне часто снится один и тот же сон: голубая лунная дорога и пехота, густо идущая по ней. Завязанные ушанки, нар от дыхания, поднимающийся над ними, иней на спинах, иней на дулах винтовок, и визг, визг множества сапог по замерзшему снегу. А высоко в небе - звезды, тоже в морозном пару. Если глянуть вперед из-за качающихся спин - впереди между снежными отвалами дорога сходится клином.

Собственно, это даже не сон. Это первая моя ночь на фронте. Но она почему-то часто снится мне. Нас тогда выгрузили из эшелона, и всю ночь мы шли к фронту, засыпая на ходу и натываясь на передних. Один пехотинец выколол глаз о штык впереди идущего. Никто не знал, где медсанбат, его перевязали тут же, и он, сразу ставший покорным, держась обеими руками за лицо, продолжал идти с нами к фронту, куда вела кем-то проложенная для нас голубая снежная дорога.

К утру мы были в окопах, дорога здесь кончилась. Когда поднялось солнце, я спал, сжавшись, упершись коленями в одну, спиной в другую стенку окопа, глубоко сунув руки в рукава шинели. Меня растрясли, кто-то из солдат сказал: "Погляди немцев, ты ж еще не видал их". Семнадцатилетний, я выглянул из окопа.

В воздухе сыпались и блестели на солнце морозные иглы, впереди лежали нетронутые снега, и в них, метрах в ста от нас, - снежная траншея. Это и был немецкий передний край! И от одного сознания, что там немцы, место это сразу отделилось от всего окружающего, стало особенным, не похожим ни на что. С жутким чувством вглядывался я воспаленными от бессонной ночи глазами. Что-то темное мелькнуло в снежной траншее, как мышь, и скрылось. "Немец!" - догадался я, пораженный. Немец был в ста метрах от меня.

И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор - это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет. Она кончилась здесь. Ее преградили немцы. Отсюда вместе со всеми эту дорогу буду

прокладывать я. Для себя и для тех, кто идет за нами.

...Спит Синюков за моей спиной, посапывая во сне. Сквозь плащ-палатку, заменяющую дверь, слышно гуденье ночных самолетов, изредка бухает на плацдарме разрыв. Мы лежим в ста пятидесяти метрах от пехоты, еще метров восемьдесят - и немцы. Тут край нашей земли. Тут кончаются все дороги. Сколько суждено пройти мне вперед? Шаг? Но этот шаг - вся моя жизнь.

## **ГЛАВА VIII**

Далекий артиллерийский гул будит нас. В мутном бескровном рассвете мы стоим в окопах, вслушиваясь. Артиллерийский бой идет на севере. Там, выше по течению, у нас где-то еще плацдарм. Внезапно ракета прорезает дымный рассвет. Повиснув над передовой, брызгает огнями. Мы ждем. У немцев по-прежнему тихо. Ракета гаснет, оставив висеть в воздухе оборванный шнур дыма.

Когда за Днестром подымается солнце, первая волна самолетов проходит на север. Крылья их снизу блестят в утренних лучах. Три звена отрываются от остальных, свернув с курса, делают круг над нами и заходят бомбить немцев. Истребители выются выше, прикрывая с воздуха. Мы вылезаем из окопов. Днем, не прячась, стоим в полный рост, смотрим бомбежку: немцам сейчас не до нас. По всему склону, по гребню высот земля взлетает навстречу самолетам. Мы что-то кричим, машем руками и не слышим своих голосов. Самолеты делают еще круг и улетают. Пыль и дым растут вверх, потом ветер разносит их по плацдарму. Когда небо расчистилось, листья кукурузы, недавно еще блестящие от росы, были рыжие и бархатистые на ощупь.

До вечера не стихает дальний артиллерийский гром на севере. Мы отчего-то становимся раздражительны. Обычные разговоры внезапно кончаются ссорами. Так проходит день.

Ночью от нас забирают медсанбат. К нам из-за Днестра переправляется

противотанковая артиллерия. Одна батарея низких длинноствольных пятидесятисемимиллиметровых пушек становится позади нашего НП. Артиллеристы - молодые широкогрудые ребята - роют огневые позиции в кукурузе, спрашивают нас про немцев. Хорошего они ничего не ждут: истребители танков. Их кидают всякий раз туда, где немцы будут наносить танковый удар. Но нам с ними становится уверенней.

От них мы узнаем первые сведения. Будто бы еще до рассвета на том плацдарме немецкие танки ворвались в медсанбат. Раненых расстреливали прямо в землянках.

Тех, кто вылез наружу, давили гусеницами. Говорят, врач пытался защитить их. В люке танка поднялся офицер, спокойно застрелил его из пистолета. Спаслись только две медсестры: на рассвете в одних рубашках они переплыли Днестр.

- Сколько километров тот плацдарм? - спрашиваю я.

- Одиннадцать по фронту, девять в глубину. Одиннадцать на девять - это девяносто девять квадратных километров. Почти сто! По сравнению с нами - целое государство. Наш плацдарм, как его ни крути, как ни меряй, хоть в ширину, хоть в глубину, - полтора квадратных километра земли. Если немцы теми же силами навалятся на нас, дело наше плохо.

Ночью к немцам уползает разведка за "языком". Возвращаются ни с чем. В одном месте наши позиции соединяются с немецкими. Здесь когда-то мы заняли первую линию немецких траншей, вторую взять не удалось, и ход сообщения остался. Немцы устраивают в нем засаду и перехватывают пехотного повара с термосом супа. Он успевает крикнуть. Крик его между двумя автоматными очередями слышен был даже у нас. Сбежавшимся пехотинцам удастся отбить повара, но уже мертвого.

Всю эту ночь мы спим и не спим. Небо облачное, далекие огненные зарницы вспыхивают на севере, словно там стороной проходит гроза, и в воздухе тоже тревожно, как перед грозой. Особенно беспокойно к утру: наступление всегда

начинается на рассвете. Но рассвело, и мы идем спать. Днем опять слушаем дальний артиллерийский гром. Временами кажется, он приблизился. Но это всегда так, если долго вслушиваешься.

Я замечаю, Мезенцев становится вдруг разговорчивым. Есть люди, которые в определенных обстоятельствах становятся разговорчивы. Даже крикливы. Таких я встречал в окружении. Задним числом они всегда лучше других знали, чего не следовало делать. Вот если бы их спросили раньше, всего бы этого не случилось. Они громко искали виновников прошлых ошибок, только об этом могли кричать и ничего не способны были предложить, как будто теперь это уже и не важно.

Оказывается, Мезенцев прежде еще понимал, что плацдарм наш - бессмыслица даже с военной точки зрения. Это вовсе не главное - захватить плацдарм. Полтора квадратных километра земли,- разве можно здесь отбить серьезное наступление? А если отобьем, так скольких жизней будет стоить каждый метр? Разве это окупается?

Все это он говорит безмолвному Коханюку. С Коханюком удобно спорить: он всегда молчит. И поскольку не возражает, можно даже понять так, что согласен. Но вхожу я в землянку, и Мезенцев сразу умолкает. Беспокойно поглядывает на меня, пытаюсь понять: слышал я или нет?

Я ложусь на нары, при свете коптилки рассматриваю уцелевшие листы немецкого иллюстрированного журнала. Во всю страницу - рисунок: солдаты, в порыве устремленные вперед. Трубач трубит, задрал вверх трубу, словно на ходу пьет из фляги. Один солдат отстал, подтягивая сапог, но и он устремлен вперед, а трубач призывно машет ему рукой...

Я уже, наверное, десятый раз рассматриваю этот рисунок. Почему-то он меня раздражает. На другом конце нары, поджав под себя ноги, как мусульманин, раскачивается и мычит Синюков с закрытыми глазами, словно молится под низким накатом. Сегодня утром осколок разорвавшегося снаряда вошел ему в одну щеку, вышел из другой. Вместе с кровью Синюков выплюнул на ладонь обломки зубов.



Вот уже несколько часов сидит он так, зажмурясь, зажав ладонью рот, полный крови и боли, раскачивается и мычит. Даже есть не может. Я лежал однажды в черепном госпитале и видел там челюстно-лицевое отделение. Жуткие мученики. Отчего-то у них часто возникает инфекция. Подвязанные детской клеенкой, с распухшими, воспаленными, нечеловечески толстыми губами, с какими-то проволочными сооружениями в незакрывающемся рту, они обливаются потоками слюны, и, когда ходят, слюна тянется за ними по полу между ног. Их поят жидким, но все равно каждый раз еда для них - мучение. Мне почему-то кажется, что Мезенцев, когда говорил: "Разве это окупается?" - глазами указал на Синюкова. Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно:

-- Так, значит, плацдарм - бессмыслица?

Мезенцев молчит. Он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону.

- Что же не бессмыслица?

Он уже не рад, но и отступить некуда. К тому же тревожная обстановка придает ему смелости.

- Не бессмыслица, товарищ лейтенант, это - жизнь,- говорит он грустно, как мудрец. - Чья жизнь?

Коханюк встает и выходит к стереотрубе. Мезенцев вдруг решился.

- Товарищ лейтенант, вы культурный человек,- подымает он меня до своего уровня.- Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка,- он кивнул на дверь,- дороже мне, чем моя жизнь. Да он и не может ценить ее так. Что он видел? Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим, и когда нас обстреливают, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх: "Как бы обо мне не подумали плохо!" Очень важно Синюкову, что о нем думаю я, если он, может быть, никогда не сможет говорить?

Синюков начинает мычать, как от сильной боли. Я молчу.

- Война - это временное состояние,- говорит Мезенцев, все больше волнуясь и покрываясь пятнами. Тяжелый дальний гул толкается в дверь землянки.- Я видел на базарах калек. Ихние товарищи, которые случайно избежали такой же судьбы, после войны постесняются позвать их в гости. Кончится война, и жизнь всех нас разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже... Что говорить, товарищ лейтенант, обстреливают нас всех вместе, а умираем мы все же врозь, и никому не хочется первым. Я только хочу сказать, что человек должен управляться разумом, а не ложными чувствами.

Я смотрю на него. Сколько хороших ребят погибло, пока мы шли к Днепропетровску, пока освобождали Одессу, где он до последних дней играл немцам на валторне. Они погибли, а он жив и рассуждает о них своим грязным умишком. Это еще он не все говорит, что думает, остерегается. А попади с таким в плен...

- Значит, ты не связан ложными чувствами?

Я уже сижу на нарах против него, и он чувствует себя беспокойно.

С первых сознательных дней никто из нас не жил ради одного себя. Революция, светом которой было озарено наше детство, звала нас думать обо всем человечестве, жить ради него. Мезенцев почти ровесник мне. Он в то же время учился в школе, так же, как и все мы, сидел на комсомольских собраниях, быть может, даже выступал с правильными речами.

- Вот знай: пока я здесь и жив, ты с плацдарма не уйдешь. Ты каждый метр его исползаешь на животе, тогда узнаешь, окупается он или не окупается.

И долго еще после этого разговора во мне все дрожит.

Ночью я прощаюсь с Синюковым. Их двое было, стариков, в бывшем моем взводе: он и Шумилин. Теперь Шумилин только. От непрерывной боли, от потери крови Синюков сразу постарел, в глазах тоскливое, покорное выражение, как у больной собаки. Впервые я называю его по имени-отчеству: Василий Егорович. До сих пор он был Синюков. Он уже не вернется на фронт. Месяца четыре

пролежит в госпитале, а к тому времени война кончится.

- Приедешь домой - полон рот стальных зубов. С ними лучше: по крайней мере, не болят.

Он все понимает. Понимает и то, что детям его, быть может, повезло даже: неизвестно, как у нас здесь сложится обстановка. Он сам прежде любил пошутить, а сейчас только мычит и подает мне левую руку, безвольную, потную, слабую. И с завистью смотрит, как Коханюк, который будет сопровождать его к берегу, на короточках жадно докуривает сигарку, держа ее в ногтях.

Они уходят вдвоем. И мы остаемся вдвоем: я и Мезенцев. Я уже давно собирался заново проложить нашу связь по болоту. Она идет везде по полю, но в одном месте линия особенно часто рвется. Если немцы начнут наступить, под обстрелом здесь чаще всего будет рваться провод. А исправить его под обстрелом днем - только связисты понимают, что это значит. Но мне все не хотелось переносить связь на болото: там хуже слышимость.

Я зову к себе Мезенцева, приказываю взять три катушки провода и заново проложить линию по болоту. Прежнюю смотать. Показываю ему на карте и на местности. Он принимает это как наказание. Козыряет: "Слушаюсь!" - глядит в землю. На своих тонких ногах он уходит в темноту, качаясь под тяжестью трех катушек и аппарата.

Начинается обстрел. Бьют по болоту. Мины рвутся с каким-то странным чавкающим звуком. Я смотрю на часы. По времени Мезенцев должен быть уже там. Иногда слышно, как долго воеет снаряд, потом звук обрывается. Разрыва нет. Это фугасные снаряды. Они успевают так глубоко уйти в болотистый грунт, что уже не могут выбросить его силой взрыва. И рвутся под землей почти беззвучно. Я правильно сделал, что решил проложить связь там. Провод больше всего перебивает осколками, прямые попадания редки. На болоте осколков почти нет.

Обстрел длится недолго. Когда стихает, опять слышен дальний бой на севере. Меня внезапно вызывает из-за Днестра Яценко.

- Мотовилов? Где у тебя этот... как его... ну, трубач твой?

Я молчу, насторожившись.

- Мотовилов! Куда ты пропал?

- Я не пропал...

- Чего ж ты молчишь? Трубач твой, говорю, где? Музыкант этот? Слышишь?

- Слышу.

- Посылай его ко мне. Да куда ты пропадаешь каждый раз?

- Мезенцева послать я не могу, товарищ Второй.

- Как так не можешь? То есть как так не можешь, когда я прика...

Голос его в трубке пресекся. Слово ножку стула прижимаю к уху. Это Мезенцев, ничего не подозревая, прервал связь. Я даже рад, что так получилось. Иначе я не мог бы сам поехать за Днестр.

И пока иду по лесу, мысленно разговариваю с Яценко. До каких пор это будет продолжаться? всю войну Мезенцев скрывался от фронта, сюда, на плацдарм, чуть не силой тащили. Случись что - любого из нас предаст, и мы же еще виноваты окажемся, что доставили ему моральные переживания. И конце концов дело даже не в нем. В справедливости дело. Люди что угодно сделают, если знают, что это справедливо. А как я могу требовать от остальных, когда он у меня на особом положении. Все же видят.

Ночью являюсь в штаб и говорю все это Яценко, горячась и волнуясь. Против ожидания, он терпеливо выслушивает и вообще кажется смущенным.

- Вот как ты сразу в философию ударяешься. Ох и народ у меня в дивизионе! Ну что мне с ними делать? Покатило? Ночью покинул плацдарм, приехал сюда учить командира дивизиона. А там в это время немцы начнут наступление...- Он все еще улыбается, но как-то кисло, и сузившиеся глаза недобро блестят.- Вам, собственно, кто дал разрешение покинуть плацдарм? Вы приказание мое получили? Почему не выполнено до сих пор? Почему вы здесь? Рассуждать научились? Смирно!

И я стою. Потому что, независимо от того, что я думаю о Яценко, есть

армия, есть дисциплина, есть вещи выше наших личных взаимоотношений и обид.

- За попытку невыполнения приказа командира дивизиона, за самовольное оставление плацдарма - пять суток ареста!

Ухожу ожесточившийся. Пять суток ареста... Напугал до смерти. Надо было спросить только: "Разрешите пять суток отбывать здесь?" А, да что я, ради Яценко воюю?

В темноте, окликнув, догоняет меня Покатило. Поглаживая маленькие усики, улыбаясь, идет сбоку. Он мягкий, культурный человек, умница, я уважаю его, и мне неловко, что он все это слышал и сейчас идет рядом со мной.

- Милый вы мой,- говорит Покатило ласково.- Какой же вы молодой еще! Я завидовал, на вас глядя. Как вы горячились и как вы еще не политичны в жизни!

Мне неприятен сейчас этот его покровительственный тон.

- А я не желаю быть политичным.

- Это легче всего сказать, но жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься.

А между тем положение Яценко действительно сложное. Это хорошо еще, что у вас, кроме горячности и молодости, никаких серьезных доводов, а так вы и не замечали, как все время наступали ему на больную мозоль. Вы знаете, что такое приезд с проверкой командира бригады? Да еще когда ожидается немецкое наступление? Тут мать родную забудешь, что угодно наобещаешь. А Яценко знал его слабость: командир бригады мечтает у себя организовать ансамбль не хуже армейского. И похвалился комбригу: "У нас, товарищ полковник, музыкант есть в дивизионе. В оркестре играл!" - "Музыкант? Пришлешь!" Вот как это делается. А вы с моральными категориями. Вы правы, да только не ко времени наша правота. Не станет же Яценко звонить теперь командиру бригады и объяснять все это...

- А почему не станет? Начальство беспокоить неловко? Вот так и отступаем перед подлостью. Мол, не все же такие слабодушные, кто-нибудь да задержит.

- Пойдите, пойдите! - Покинул с ласковой улыбкой смотрит на меня  
сбоку.

Меня раздражает сейчас эта его улыбка.

- О чем, собственно, звонить командиру бригады?

- Как о чем?

- Нет, вы не горячитесь. Давайте разберемся все же. Что сказать  
командиру бригады? Что Мезенцев по своим моральным качествам должен не в  
тылу сидеть, а пройти весь курс наук на передовой?

- Хотя бы.

- Так. По ведь это вы знаете, каков Мезенцев. Допустим, я догадываюсь.

А командиру бригады откуда это знать? Он ни вас, ни Мезенцева в глаза не  
видел. Что вы ему скажете, вот если б вы говорили? Что Мезенцев у немцев  
был? Так миллионы людей были в оккупации, и это беда, а не вина их. Что он  
при немцах в оркестре играл? Так крестьянин пахал и сеял, рабочий в  
мастерских работал. Не для немцев - чтоб с голоду не умереть. И то, что  
Мезенцев женился в оккупации и двоих детей произвел,- поверьте, это тоже  
суду не подлежит. Я понимаю, для вас не то главное, что он в оркестре играл,  
а то, что он по внутренним качествам готов был служить немцам. Но именно это  
и недоказуемо сейчас, хотя это - главное, это - его суть.

- А почему это доказывать надо, когда это и так ясно? Вам же ясно и без  
доказательств.

Покинул улыбается покровительственно.

- А потому, что, руководствуясь одними предположениями, интуицией, мы  
за здорово живешь можем и честных людей укатать сколько угодно. Вы  
поинтересуйтесь, я вас уверяю, у Мезенцева и справки есть, удостоверяющие,  
каким было его поведение при немцах. И вообще с внешней стороны у него все  
обстоит благополучно, я в этом не сомневаюсь. Вы не заботитесь, как с  
внешней стороны выглядят ваши поступки. Бросили без спроса плацдарм,  
приехали доказывать моральную сторону дела. Да если командир бригады узнает

в такой момент, вам же еще и влетит, а не Мезенцеву. У таких, как он, всегда с внешней стороны все обстоит благополучно, это уж будьте уверены. Ну да что! Вы меня лет на двадцать моложе? Как раз на те двадцать лет, за которые собственным опытом узнают все это.

И он козырнул, прощаясь. Я тоже козырнул. У меня было такое чувство, словно он смеется надо мной.

Как же так, всем ясно, что Мезенцев - мерзавец, и в то же время по каким-то глупым формальным соображениям ты ничего не можешь с ним сделать? Почему зрячим людям нужно доказывать, что черное - это черное? Да еще, выходит, не докажешь, потому что есть справки, удостоверяющие обратное. И умный, порядочный, симпатичный человек словно бы соглашается с этим, говорит, что жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься. Как он не понимает, что эти рассуждения унижительны? Я никогда не соглашусь с этим. Мы не только с фашизмом воюем, мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человеческой, правдивой, честной.

И вместе с тем я уже понимал, что командиру бригады действительно невозможно звонить. Человека легко убедить, если смотришь ему в глаза и ты прав. Но по телефону, когда он, наверное, забыл уже о Мезенцеве, когда все мысли его сейчас сосредоточены вокруг готовящегося немецкого наступления, доводы мои покажутся ему мелкими и даже глупыми какими-то.

Кричал, грозился: "Ты с плацдарма не уйдешь!.. Ты каждый метр исползаешь на животе!.." А теперь поеду передавать ему приказание Яценко.

Самое интересное, что Мезенцева заберут, но числиться он по-прежнему будет за моей батареей, как все тыловые лодыри числятся за батареями и взводами. Так что на его место даже не пришлют радиста. Я только сейчас это сообразил. Он будет играть на трубе, а оставшиеся бойцы должны воевать за него. И за себя и за него. Вот если он проштрафится, тогда его обратно сошлют в батарею по месту "прописки". Но Мезенцев не проштрафится.

Разведчики спят, когда я вхожу к ним. Только Шумилин при копилке пишет

письмо крупными буквами, сильно давя на карандаш, так что края бумаги поднялись. Он встал, головой под потолок, широкий в кости, сутулый, словно огромная тяжесть легла ему на плечи и гнетет. Лицо больного человека. А может, свет такой?

- Собирайся! Со мной пойдешь,- говорю я.

Он как-то сразу непривычно и жалко переменялся в лице, засуетился бестолково. Проснулись разведчики, неодобрительно, молча наблюдают, как собирается Шумилин. Они знали, что на плацдарме Мезенцев, не понимают, почему я вдруг сменяю его, а я не имею права ничего объяснять им. Приказание есть приказание, его не обсуждают.

- Товарищ лейтенант,- обратился ко мне Васин,- разрешите пойти вместо Шумилина.

- Я вас не спрашиваю!

Я делал несправедливое дело, знал это и потому раздражался. Но я не знал тогда, отчего так испуганно переменялся в лице Шумилин, когда я приказал идти со мной на плацдарм, отчего у него был вид тяжелобольного человека.

Мне показалось, что он собирается медленно, я прикрикнул на него:

- Долго ты будешь возиться?

Много раз после, когда Шумилина уже не было в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на нем сердце,- на безответных людях легко срывать сердце.

Я вышел первый при общем молчании; Шумилин - за мной. Молча шли мы с ним к берегу, молча сели в лодку, молча гребли на ту сторону. На середине реки что-то сильно и тупо ударило в лодку. Придержав весла, я глянул за борт. Близко на черной воде качалось белое человеческое лицо. Мертвец был в облепившей его гимнастерке, в обмотках, в красноармейских ботинках. Волна терла его о борт, проволакивая мимо. И тут впервые я услышал, что далекий, все эти дни тревоживший нас артиллерийский гром смолк. Непривычная стояла



тишина. Неужели там, севернее, все кончено? Я осторожно отгреб веслом, стараясь не задеть мертвеца, приплывшего оттуда. И некоторое время мы еще видели, как, удаляясь, что-то белеет на воде.

Мы высадились на берег, почему-то стараясь не производить шума. Было облачно и темно, особенно и лесу. Только смутно различалась песчаная тропа под ногами. Мы миновали землянку связистов, в которую попала бомба. Густой трупный запах стоял в этом месте, мы прошли торопясь, задерживая дыхание. И после еще разительней и чище были запахи леса.

Издали слышали мы глухие шаги многих ног по песку. Они приближались. Сойдя с дороги на всякий случай, мы ждали. Первым, спотыкаясь о корни, шел солдат, бритый, без пилотки, в тяжелых сапогах, неподпоясанная гимнастерка расстегнулась на полной белой шее, голова склонена к плечу, руки заведены назад. Он шел так, словно его подталкивали в спину. За ним близко прошли два автоматчика, сумрачные, с автоматами в руках. За автоматчиками, тоже без пилотки, спутанные волосы упали на лоб, высокий, бледный, в наброшенной на плечи длинной шинели, придерживая ее руками на груди, мягко ступал по песку Никольский. Он первый увидел меня, улыбнулся испуганной, какой-то жалкой улыбкой и поторопился пройти. Прибавя шаг, прошли автоматчики с автоматами в руках, а я все стоял, ничего не понимая. Потом кинулся за ним:

- Никольский! Саша!

-- Нельзя, товарищ лейтенант. Не положено,- отгораживая его своими автоматами, говорили конвойные не очень уверенно. А Никольский уходил не оборачиваясь. Я видел его согнутую спину. Он спешил уйти, как от позора.

## **ГЛАВА IX**

Оказывается, к нам перешел немецкий солдат. Прошел каким-то образом передовую, прошел дальше и наткнулся на спящего часового. Солдат спал у входа в землянку, обняв винтовку. Немец хотел разбудить его, но испугался,

что часовой застрелит, и сел ждать. А в это время в землянке, охраняемой спящим часовым, спал Никольский. Он как раз обошел посты и, вернувшись, хотел написать письмо и так и заснул с карандашом в руке, обессиленный недавним приступом малярии. Раньше всех на плацдарме малярия началась у него, он был моложе нас и больше ослабел. Но теперь уже только одно имело значение: он в ту ночь отвечал за посты и караулы и заснул.

Несколько дней назад он сам рассказывал мне, как боец, заснув в окопе, застрелил "языка", которого разведчики тащили через передовую. "Как думаешь, что могут дать?.."

Хуже всего то, что обстановка у нас неясная. Только что немцы наступали на севере. Готовятся сбросить нас в Днестр. В такой обстановке любой проступок вдвое тяжелей. Я вижу, как его вели, как он от позора торопился скорей пройти мимо меня. Неужели штрафбат?

Я вхожу к себе на НП, и Мезенцев сразу же вскакивает, стукнувшись головой о низкий накат. Сапоги в какой-то болотной дряни. От мокрых штанов, облепивших худые ноги, пахнет болотом. Докладывает, что приказание мое выполнено. Глаза бегают, боится, наверное, что не отпущу. Если немцы правда начнут наступать, с каким бы удовольствием я оставил его здесь!

- Отправляйтесь за Днестр!

У меня от омерзения даже рот полон слюны.

- Слушаюсь, товарищ лейтенант,- говорит он тихо и сразу же начинает собираться.

К Бабину я опаздываю. Немца уже привели. Его час таскали по передовой, и он на местности показывал систему обороны и огневые точки. Он сидит ближе всех к свету. Длинные редкие с сединой волосы зачесаны назад. Перхоть и вылезшие волосы на плечах, на воротнике. Сухое лицо. Погасшие, словно присыпанные пеплом глаза. В них смертельная усталость. Напротив него командир полка Финкин, полнокровный, крупный, вместе с инженером, оживленно переговариваясь, что-то помечает на карте. Землянка полна людей, все курят,

и огни трех свечей тускло видны сквозь дым. От двери я замечаю Бабина.

Положив крупные руки на стол, он сурово смотрит на немца.

-- Чего он перешел к нам? - тихо спрашиваю стоящего рядом со мной лейтенанта.

Тот ответил тоже шепотом:

- семью у него при бомбежке убило в тылу. Говорит, давно хотел перейти, за семью боялся.

И хохотнул, обнажив желтые от табака зубы:

- Брешет, как все.

- А еще чего говорит?

- Говорит, наступать будут здесь. Срок точно не знает. Видел сам, как химические снаряды разгружали.

Немец в это время, отвечая на чей-то вопрос, заговорил хрипло.

Переводчик, сосредоточенно упершись взглядом в стол, напрягая лоб, переводит:

- ...Мы никогда не слышали о человечности. Поощрялась жестокость, жестокость, жестокость! Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему. И ничего не добилось. Нам сказали, защищать надо сильного. Злом стали утверждать добро. И возшло зло. Кровью и ненавистью затоплен мир. Теперь эта ненависть хлынет на Германию. Надо остановить безумие, охватившее людей...

Кто-то рассмеялся недобро:

- Чего ж он раньше не останавливал, когда по нашей земле шли?

Немец оглядывается растерянно, не понимая чужого языка. Но Финкин поднял от карты ставшие строгими черные навывкате глаза, и все стихло.

- Пусть говорит,- сказал Брыль, словно в улыбке ощеря все зубы.- Ради чего они сейчас воюют?

Немец, выслушав, хрустнул пальцами, заговорил тоскливо:

- Все спуталось: законы, право. Справедливо то, что полезно нации.

Право то, что нужно Германии. Но если и остальные нации скажут так? Страшно, страшно подумать!

Он словно хотел, чтобы мы сочувствовали, мы, потерявшие в этой войне куда больше, чем он. Стояла недобрая тишина.

- Прежде-то была цель? - настаивал Брыль. Ему перевели, и немец заговорил, затравленно поглядывая на переводчика:

- Мы никогда не оправдывали жестокости. Народ не может оправдывать жестокость. Мы - нация, стесненная со всех сторон. Каждый год рождается полмиллиона немцев. Земля истощена. Гитлер говорил нам: это война за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины. Но мы не понимали это буквально.- Словно испугавшись, он щитом поднял ладонь.- Мы искали в этих словах высший государственный смысл, быть может, недоступный нам. Ужасные средства, но мы верили, что есть цель, которая оправдывает их. Потому что, если это буквально, если за этим ничего нет,- разум отказывается понимать. Тогда мы ужасно обмануты...

Я чувствую, как у меня начинают дрожать пальцы. Они же еще и обмануты! Если бы они победили нас - ничего, на сытый желудок оправдали бы и средства, и цели, и Гитлер был бы хорош. Это они сейчас за голову схватились, когда расплата нависла. Его не слова привели в чувство - бомба, убившая его семью. А пока только наши семьи погибали под бомбами, так все вроде шло как надо и они искали и этом высший смысл.

Есть вещи, о которых стыдно вспоминать. Перед самой войной шла у нас картина "Если завтра война". Там было место, как сбили нашего летчика над Германией и он попал в плен. И немецкий солдат, открыв ворота ангара, помогает ему бежать на самолете и винтовкой салютует ему с земли...

Этой зимой у убитого немецкого солдата я нашел фотографии наших расстрелянных летчиков. Их согнали в лагерь смерти, отобрали теплую одежду в мороз. Они поняли: это конец. И решили бежать. Массовый побег семисот летчиков. Босиком, по снегу, без шинелей, из глубины Германии. Некоторые

ушли за двадцать километров на распухших от голода ногах. Потом их находили замерзшими. Я видел эти фотографии. Сжавшиеся на снегу люди, пытающиеся сбечь тепло. Иные в одном белье. Босые обмороженные ноги. А тех, кто еще был жив, пригнали обратно в лагерь и здесь расстреляли. Все это снято с немецкой аккуратностью: выражение лиц, выстрелы, падающие под пулями люди, позы расстрелянных.

У каждого народа, самого кроткого, найдутся свои садисты и выродки. Но ни одна страна не пыталась еще уничтожать целые нации, всех, до одного человека. Коммунистов - за то, что они коммунисты, славян - за то, что они славяне, евреев - за то, что евреи. Я читал письмо немки к мужу на фронт. Она жаловалась, что детская меховая шубка, которую он прислал из России, была в крови. И рассказывала, как она остроумно, аккуратно, не повредив вещи, отмыла кровь и как выглядит их дочь в этой шубке. Вот - цели. И такие же средства. Застрелил ребенка и снял меховую шубку, словно шкурку содрал со зверька.

Не существует высоких целей, которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели, и тут ничего не удастся оправдать.

Каждому из нас столько надо забыть, чтобы начать сочувствовать, а мы не имеем права ни прощать, ни забывать.

- Чего ты добиваешься? - это Бабин прервал Брыля.- Не ясно тебе, какие у них цели? Ты войну провоевал.

- А я с первого дня добиваюсь,- говорит Брыль упрямо,- каждого пленного расспрашиваю, хочу понять. Не могу поверить, что весь народ такой. Потому что поверить в это - значит стать таким же, как они.

Резко откинув плащ-палатку, вваливается адъютант командира дивизии с того берега.

- Пленный здесь? - спрашивает он почему-то испуганно. И, обежав всех глазами, увидел немца.- Срочно к командиру дивизии!

Я выхожу из землянки. Со света в первую минуту перед глазами черно.

Где-то поблизости разговаривают солдаты. Лиц не видно, слышны только голоса:

- Человек-то, главное, хороший был, вежливый.

Кто-то, засмеявшись, сказал хрипловатым от махорки голосом:

- А я бы на месте лейтенанта хлопнул того немца втихую, и - концы.

Я иду к себе в землянку. Долго в эту ночь не могу заснуть. Я думаю о Никольском, о себе, о наших ровесниках. Где-нибудь в Австралии вернулся сейчас мой ровесник с работы, ужинает у себя дома. Война там, в России, за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко, беспокоят каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои.

Понимаешь ли ты, мой ровесник, что это и за тебя война идет, за твоих будущих детей? Бывали и раньше войны, кончались, и все оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом. По-разному коснулось нас это время. Ты еще учился в школе, когда мы взяли в руки оружие. Сегодня наш окоп преградил путь фашизму.

В сущности, мы тоже до войны были очень беспечны, хотя и знали, что нам предстоит. Родятся после войны новые поколения и будут тоже беспечны, как беспечна молодость. Надо, чтоб они знали, какой ценой добывалась для них жизнь на земле.

## **ГЛАВА X**

Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. Гудение перемещается, тревожа пехоту. Оно то стихает, то уже танки рычат на высотах, и слышно лязганье и даже как будто немецкие голоса. Когда ночью метрах в трехстах от тебя танки, начинаешь сразу чувствовать непрочность обороны - всех этих ямок, окопчиков, не везде соединенных в траншеи, по которым сидят

пехотинцы с автоматами в руках.

Меня вызывает Яценко:

- Что там у вас?

Докладываю обстановку: за передовой ползают немецкие танки.

- Чего они там ползают?

Чего они ползают - я тоже не знаю, но, пользуясь случаем, прошу прислать мне рацию и двух радистов. Моя рация давно разбита, а в седьмой батарее есть и не нужна им фактически.

- Вы там, оказывается, спать мастера! - говорит Яценко многозначительно. И делает паузу, чтоб я мог прочувствовать, что ему, капитану Яценко, известно все: и случай с Никольским, и многое другое, и даже то, что я, быть может, надеялся по наивности скрыть от него.- Ясно?

- Ясно!

Молчит. Я жду. Яценко молчит. По линии - тишина. Момент, когда наконец надо принимать решение, никогда не доставлял удовольствия нашему комдиву.

- Ладно, пришлю тебе рацию.

Только в такой обстановке и можно у него чего-либо добиться. Отказывает он обычно не из каких-нибудь высших, неведомых нам соображений, а просто потому, что уверен: комбатов надо держать строго, иначе они разбалтываются. И если они просят что-либо, на первый раз лучше отказать.

Я посылаю на берег Коханюка встретить радистов. Часа через полтора Яценко опять вызывает меня:

- Ну, что у вас?

За дверью в проходе - радисты, оба невысокие крепыши, серьезные, лобастые, похожие друг на друга, как новорожденные щенята, уже колдуют около радиации. Докладываю: радисты прибыли. Голос у меня хриплый со сна.

- Ты что, спал? - спрашивает Яценко недовольно.

Почему-то начальству всегда неловко признаваться, что ты спал. Даже ночью. Признаешься в этом, как в собственном упущении.

- Отдыхал, товарищ капитан,- говорю я, помня, что в армии не спят, в армии отдыхают в лучшем случае.

- Танки как себя ведут?

- Ползают,

- А ну дай по ним три снаряда, чтоб не ползали!

Три раза красный огонь вскидывается на высотах. Гудение стихает на время. У меня еще в глазах огни, когда из темноты является Бабин. С палкой в руке, хромая, он подходит веселый, молодеватый: по передовой лазал. А вид такой, словно этой палкой зайцев в траве гонял. За ним тенью - автоматчик с автоматом.

- Ты стрелял?

- Я.

- Молодец. Пехоте веселей, когда артиллерия не спит. Курить есть?

Он садится на бруствер, выколачивает трубку о рукоять палки. Овчарка, бесшумно возникнув из темноты, ложится рядом с ним, вытянув передние лапы.

- Роздал свой табак. И вот его ограбил.- Бабин кивнул себе за плечо, на автоматчика. Потом говорит ему: - Закури и можешь идти.

Автоматчик ушел. Приминая табак в трубке, Бабин сидит, задумавшись.

- Старик мне там попался. Наш, архангельский. Покурили мы с ним... Я бы так ордена давал,- сказал Бабин неожиданно.- "Пехотинец?" - "Пехотинец".- "На!" И больше бы ничего не спрашивал. Вот этой весной. Днем в окопах по колено талой воды. Ну люди же! Глядишь: один, другой вылез на бруствер обсохнуть на солнышко. Тут - обстрел! Попрыгали, как лягушки, в грязь! А ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота! Вот она кому вливается, война! Мы здесь покуриваем, а он даже оправляется в окопе, если днем. Потом саперной лопаткой подденет с землей и выкинет за бруствер, чтоб ветер не в его сторону.

Бабин прикурил, загорядясь. Я видел, он волнуется.

- Как-то в поезде, из госпиталя ехал, слышу, рассказывает один -



сколько раз он в атаку ходил... Брехня! Больше трех раз пехотинец в атаку не ходит. Либо вчистую, либо в госпиталь!

Опять за передовой слышны танки.

- Дай еще снарядов несколько,- просит Бабин. И пока я передаю команду, он неодобрительно наблюдает за радистами.

- Не люблю я эту вашу музыку,- говорит он, кивая на рацию.

Радисты дисциплинированно молчат.

- Как бой, так у нее питание садится, связи ни черта не добьешься.

Только немцев привлекает. Один раз из-за такой шарманки засекли мой КП.

И с детским любопытством идет посмотреть в стереотрубу, как будут рваться снаряды.

- Ты что до войны делал? - спрашивает Бабин, когда мы отстрелялись.- Учился?

- Учился.

Он опять садится на бруствер, концом палки сбивает головки трав в росе.

Он в каком-то бесшабашном настроении. Такое бывает перед боем, когда случайно оказавшемуся с тобой в окопе человеку можно вдруг рассказать всю свою жизнь.

- В жизни,- говорит Бабин,- я тех людей уважал, которые чего-то умели, чего я не умел. Жил у нас охотник - ненец. Егор звали. Сколько он за сезон тюленей набьет, никто столько не мог. Было мне двенадцать лет. И вот стащил я у отца винтовку и погиб бы в тот раз, если б рыбаки со льдины не сняли. Целый день носило на ней по морю. А все же двух тюленей добыл.

И я почувствовал, ему и сейчас приятно вспомнить об этом.

- В другой раз позавидовал я крановщику. Удивительный был крановщик в порту. Так я на него ходил смотреть, всю шею выломил. А когда подрос, оказалось, это, в общем, дело несложное. Но все равно я ему и сейчас благодарен. Много таких дел встречалось мне в жизни. Встретится - про все забуду, пока сам не одолею.

Бесшумно бродит по небу луч прожектора. Белый отсвет его падает на землю. Когда луч оказывается над нами, хорошо видно лицо Бабина, смелые сощуренные глаза, следящие за концом палки, и в них затаенная усмешка. И я понимаю сейчас Риту, больно, а понимаю.

Многое вперед простил я ему в эту беспокойную ночь, когда по небу бесшумно бродил луч прожектора, а за передовой, метрах в трехстах отсюда, слышны были моторы немецких танков.

- Все же одно дело так мне и не далось,- сказал Бабин, вкось ударив по траве так, что воздух зафырчал под палкой.- Хотел я научиться на аккордеоне играть. У моряков это вообще принято, море без песни не живет. Другой раз запрუსь в каюте, слушаю сам себя - получается. Оказалось, слуха нет. Ну ладно, нет, так развить можно! Как считаешь?

И он глянул на меня подозрительно и самолюбиво, словно боясь насмешки. Меня опять вызвали из-за Днестра, и я долго докладывал обстановку. Когда отдал трубку, Бабин спросил вдруг:

- Кто у него дома остался?

Я понял, что он спрашивает о Никольском.

- Мать у него, сестренка.

- Отца нету?

- Отец - полковник. На Первом Украинском воюет. Соседи почти что.

- Что ж он к отцу из училища не поехал?

-- А ты бы поехал?

Бабин долго рисовал палкой. Луч прожектора то освещал его, то уходил за Днестр. Потом к первому лучу присоединился второй. Они встретились в одной точке, замерли - гигантский голубой циркуль встал за Днестром, концами впившись в землю.

- Это еще не дорого стоит: к отцу в адъютанты не пойти. Хуже, когда силенок не рассчитаешь, размахнешься широко, да один замах и останется. Я мальчишкой был, мне война по песням в виде тачанки представлялась. Кони,

гривы, тачанка несется как бешеная, а в задке я строчу из пулемета по белякам. И до того мне на войну хотелось - сказать тебе не могу! А война видишь какая. Скажем, на Донце ходил я со своим батальоном в разведку боем. Потерял тридцать шесть человек. А добыл знаешь что? Немецкую солдатскую книжку. Как же так это покажется: тридцать шесть жизней, и все ради одной солдатской книжки? Да в наступлении их сотнями валяется! Так? А вот теперь с другой стороны поглядим, что оно значит на самом деле: добыли мы книжку убитого солдата эсэсовской танковой дивизии "Мертвая голова". Дивизии этой на нашем участке не было. Появилась недавно. Что это значит? На девяносто процентов с уверенностью можно сказать, что он тут наступать будет. И правда, на четвертый день ударил. Так мы уже знали, готовились. А не добудь мы этой солдатской книжки - посчитай, сколькими жизнями расплатились бы. Я это говорю к тому, что не всем на войне достается флаги водружать. Больше воюют безвестно. Хотя у них имена есть, и люди они не хуже, и смелости у них не меньше. Мы тут тоже сидим вроде бы на задворках войны. Другому в трудный час покажется: "Господи, да что мы их держим, эти полтора километра? По сто километров отдавали без боя, а тут вцепились зубами, метра отдать не хотим!.." А наш плацдарм в немецкой обороне как нож в тело. Куда он ни сунется - чувствует в себе этот нож. И рад бы выдернуть, и не может. И руки связаны. А попробуй без такого плацдарма с ходу форсировать Днестр и - в наступление. Знаешь, сколько дивизий положишь тут? Во скольких концах России заголосят по убитым мужьям, сыновьям?

Никогда после, ни до этих пор не говорили мы с ним столько. Он все сидел, и ему не хотелось уходить. Спросил вдруг:

- У тебя брат есть?

- Есть.

- Вот в этом я тебе завидую,- сказал Бабин, как говорят о сокровенном.-

Друг - хорошо, а когда рядом брат, родная кровь... Я один. Убьют - на мне фамилия кончится. Мать у меня в молодые годы здоровая была, веселая, у нее

детей много могло быть. А как-то шли они с отцом из гостей. Мороз. По реке шли, по льду. Отец пьяный был. Он вообще-то отчаянный, а когда выпьет, одна мать с ним справлялась. И провалился в прорубь. Не будь матери, утонул бы в тот раз. Привела она его домой, весь обмерзший, как льдина. Раздели, выпил стакан спирта, укрыли всеми шубами. Утром встал - хоть бы что. А мать застудила себя. Все болела с тех пор, и уж больше детей не было. У нас в деревне я вообще не замечал, чтоб жен жалели. Но отец жалел ее. Корову сам доил! Женился он рано и смолоду себя не обижал. Бабы из-за него в открытую дрались. А рыбаки побаивались. Человек он был суровый и здоров страшно. Не одну слезу мать из-за него пролила. А тут как подменили: идет утром с подойником, хоть люди, хоть кто - ничего ему не позор. Только одно просил... Выпьет, вернется поздно, станет перед матерью на колени: "Маша! Может, одного еще, а? Сына! В руках поддержать!.." Проснусь ночью, слушаю, так даже мороз прохватит. А мать с ним сурово говорит, с пьяным.

Мне вдруг захотелось сказать ему с внезапным самоотверженным, что я понимаю Риту. Но я сдержался и только спросил:

- Жив отец?

- Утонул. Рыбаки редко на берегу умирают. Рассказывали, лодку их перевернуло килем вверх. Болтало их, болтало так, потом льдина показалась недалеко. Отец хорошо плавал. Видит, остальные выбились из сил, взял бечеву в зубы, поплыл, чтоб их после на льдину вытащить. А был в коневых сапогах. Вот до сих пор. Они-то его и утянули. А тех спасли.

Собака у ног его внезапно подняла голову с лап, предостерегающе зарычала. Кто-то шел к нам. Мы всматриваемся! Маклецов! Афанасий Маклецов. Прошлой ночью его, раненного в плечо, увезли с плацдарма, и он ругался и скрипел зубами, пока Рита перевязывала его. И вот уже возвращается. Маклецов подходит, останавливается над нами. Нерешительно поглядывает на Бабина.

- Сапоги жмут,- говорит он. И, проворно сев на землю, начинает разуваться, помогая себе здоровой рукой. При этом ворчит: - Чертова старуха

приказала мне сапоги не давать...

- Ты, собственно, чего вернулся? - спрашивает Бабин холодно.

- Чего... Вы, значит, здесь, а я, значит, там сиди?

- Ну и что?

- Ну и нет ничего. Только перевелись дураки. Она, эта старуха, два часа во мне какой-то спицей ковырялась. Знаю я таких любознательных. Ей дай волю, начнет людям головы пересаживать: у одного срежет, другому пришьет.

- Ну, ты при этом, факт, не прогадаешь.

- Ладно. Прогадаю не прогадаю - желаю при своей оставаться.

Страхнув портянки, Маклецов шевелит пальцами. В воздухе пахнет его босыми ногами. Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно, и оттого сидит надутый, словно его оскорбили в лучших чувствах. Бабин вдруг начинает хохотать, и сразу Маклецов превращается в дурашливого мальчишку.

- Слушай, комбат, будь другом, дай сапоги. У тебя в землянке запасные стоят, я знаю. А то неавторитетно в роту босиком идти. Я ж командир роты все-таки. И немец завтра наступать начнет. Какая у бойцов может быть устойчивость, когда командир уже заранее разулся?

- Тебе это откуда известно, что он наступать начнет?

- А вы что, не знаете?

Маклецов смотрит на меня, смотрит на Бабина, снова на меня.

- Вы в самом деле не знаете?

Из землянки показался радист. Маклецов махнул на него:

- А ну, скройся! - Подождал.- Завтра немец наступает. Вы разыгрываете меня или правда не слышали? В медсанбате все говорят. Я как узнал, думаю: "Буду я тебе здесь лежать..." Подзываю санитаря. Есть у них один, всю войну при медсанбате воюет. Прижился, как кот в тепле. "А ну, говорю, иди сюда, милый. Табачок есть?" Закурили мы с ним. Между прочим, курит офицерский. "Теперь, говорю, снимай сапоги". Он было туда, сюда. "Тихо, тихо! А то я могу тебя самого к себе в роту взять". Тут он добровольно разулся.

Бабин смотрит на него смеющимися глазами.

- Эх, Маклецов, Маклецов! Характер у меня мягкий, вот что тебя спасает.

- Значит, дашь,- заключил Маклецов.

Па правом фланге начинают строчить пулеметы, немецкие и наши. Сразу взлетает несколько ракет. Бабин встал.

- Ну, бывай!..

Рука у него большая и сильнее моей. Наверное, потому, что я моложе. Он спросил вдруг:

- Ты как, в предчувствия веришь?

- А что,- говорю я,- предчувствия другой раз не обманывают. Вот же, скажем, животные чувствуют опасность задолго. Я думаю, наука это еще объяснит.

- Считаешь, объяснит...- сказал он, упрямо думая о чем-то. И глянул мне в глаза.- Не нравится мне немец сегодня. Я уже командиров взводов предупредил. Как бы он нам к утру не устроил сабантуй. Так договорились: снарядов не жалеи. Чтоб пехота поддержку чувствовала.

Он уходит в призрачном свете ракеты, идет по кукурузе, почти не хромя, с палкой в руке. У ноги его бесшумно серой тенью скользит собака. Маклецов идет за ними, здоровой рукой несет за ушки сапоги, шаркает босыми ногами по росе.

Крупная желтая звезда, поднявшись высоко, горит над черным лесом. Как-то однажды Маклецов наигрывал на гитаре, а Рита сидела на бруствере, зажав ладони в коленях, закрыв глаза. Она еще не пела, но песня уже звучала в ней. И вот эта желтая звезда низко стояла над землей. Я ее запомнил с тех пор. Она ярче и крупнее других звезд. И всходит каждую ночь. Я люблю смотреть на нее.

Перед утром темнота сгущается. Танков не слышно. Повсюду на плацдарме стрекочут в траве кузнечики, и воздух звенит от них.

Постепенно небо над высотами отделяется от земли, и становятся

различимы какие-то странные предметы, похожие на наклоненные телеграфные столбы. Поднялся ветер. Мигают и меркнут звезды. Один радист спит, свернувшись в окопе, другой борется со сном у щитка рации, и лицо его после ночи кажется измученным и бледным. Начинает рассветать. Воздух посвежел от росы и влажен; это чувствуется лицом. И шинели наши, и волосы влажны.

А когда я провел по холодному стволу автомата, ладонь стала мокрой.

Теперь уже можно различить, что это не столбы, а пушки с задранными вверх стволами. Они стоят открыто на высотах, как никогда не стоит артиллерия.

И вот первый луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы видим, что это не немецкие, а наши стопятидесятидвухмиллиметровые орудия, а на их задранных вверх стволах повешены артиллеристы. В стереотрубу они хорошо видны. Распоясанные, босые, как будто старающиеся достать землю пальцами ног, с опущенными вдоль тела руками, головы склонены к плечу, они мерно покачиваются на ветру, поворачивая к нам свои мертвые лица, освещенные восходящим солнцем. Это, наверно, с того плацдарма приволокли захваченную батарею, втащили на высоты и на стволах, захлестнув веревки за дульные тормоза, повесили батарейцев в устрашение нам.

Пять часов. Тихо. Я спускаюсь в землянку. Над столом на стене - ходики.

Разведчики привезли нам их из-за Днестра. Над циферблатом пара глаз со сверкающими белками. Качается маятник, слева направо бегают веселые белки: тик-так! тик-так!.. Я вдруг замечаю, что сижу, опершись локтями о колени, сжав в ладонях виски. Поспешно достаю табак, скручиваю папиросу. Как я все же не умею владеть собой при людях! Ложусь на спину и курю. Над моим лицом накат в одно нетолстое бревно. Выше - слой земли. Мину он еще выдержит. И то легкую. Снаряд разнесет его.

Неужели на том плацдарме все кончено? Я представляю себе, как их вешали. По времени это, очевидно, было тогда, когда мы сидели с Бабиным и разговаривали. А в полукилометре отсюда им надели веревки на шеи и подъемным

механизмом начали подымать ствол, как это обычно делают при стрельбе на дальние расстояния. А они стояли босые. Сначала подымался один ствол, потом натянулась веревка, потом человек начал отрываться от земли. Почему в такие минуты люди стоят? Им дают лопаты, и они сами роют себе могилу. Ведь у них железные лопаты в руках. Что это, покорность или великое презрение? Люди умирают с песней. Кричат под залпами вещице слова, которых не слышно за выстрелами. Почему не борются? Или есть что-то такое, что не может переступить человек, оставаясь человеком? Фашисты переступили. Рассказывают, даже в газовых камерах люди оставались людьми. Матери, сдавливая друг друга телами, пытались освободить детям место, чтоб им не тесно было стоять. Там, в темноте, когда пускали газ и смерть душила людей, с какой яркой силой среди них, обреченных, вспыхивали человечность и любовь! И немцы учли это. Потом они уже казнили детей отдельно. Потому что матери, видя смерть своих детей, становились опасны. Даже это они учли! Бывала холера, бывала чума, это - фашизм.

Я стараюсь не смотреть на часы поминутно. Хорошо долго не смотреть, а потом глянуть сразу, когда пройдет много времени. Я жду, пока пройдет много времени. Потом смотрю на часы. Прошло шесть минут. Начнет он сегодня или не начнет? Если в семь не начнет, значит, все. Надо дожидаться семи.

Интересно, какие калибры немецкой артиллерии я помню? Пятидесятимиллиметровая танковая пушка. Семидесятипяти. Нет, семидесятипяти - это французская пушка. Мы однажды захватили такие. Впрочем, и у немцев есть. А какая пушка на "фердинанде"? Длинный ствол, дульный тормоз, как кулак, прицельный огонь. А калибра не помню. Интересно другое: сколько у них здесь танков? Никогда не забуду, как этой зимой немецкие танки купали нас пятерых в воронке от авиабомбы. Там было целое озеро, лед, разбитый минами. Мы спрыгнули туда. Скроемся под водой - выглянем. Стоят. А один танк вообще стал у края воронки и ведет по кому-то огонь. Жизнь бы в тот момент отдал за одну противотанковую гранату.



Ровно без десяти минут семь над нами тяжелое гудение самолетов. Я выскакиваю из землянки. Двенадцать двухмоторных "петляковых" проходят над плацдармом. Первые тяжкие удары. Столбы земли и дыма у немцев. Немецкая передовая скрывается в дыму. У нас пехота тоже попряталась. Она уже ученая, наша пехота. Знает, что бьют по немцам, а попадают иной раз по своим. Зато на командных пунктах все выскочили из ровиков. Маклецов у себя открыл стрельбу вверх из автоматов, салютует бомбардировщикам. Мы тоже выпускаем вверх по целому диску.

"Петляковы" долго бомбят передовую и что-то еще за высотами. Когда они улетают, мы опять залезаем в окопы.

Восемь часов. Солнце уже припекает, воздух сух, и небо с утра выцветшее. День будет палящий. И, как всегда перед жарким днем, голова мутная, усталость во всем теле и сильно сохнет во рту. Пью и не могу напиться.

Девять часов. Жду еще полчаса и иду спать.

Я так и не понял, заснул я или нет. Я вскочил оттого, что ясно услышал орудейный залп. В следующий момент я сидел с бьющимся сердцем, вслушиваясь. Но даже пулеметы не стреляли на передовой. Наверху, в сухом от солнца окопе, радист пробовал самодельную дудку, старательно выводя на ней белорусскую "Перепелочку". Как раз это место:

А у перепелочки ножки болят,

Ты ж моя, ты ж моя перепелочка,

Ты ж моя, ты ж моя невеличкая...

Звук камышовой дудочки, тонкий и печальный, дрожал в знойном воздухе. Что же это? Я только что отчетливо слышал орудейный залп. Или, когда я задремывал, он раздался в мозгу у меня, словно лопнула до отказа натянутая струна?

Я вышел из землянки, ладонью растирая затекшую щеку,- сухой, слепящий свет ударил в глаза. Над лесом дыбом стояла лиловая туча, и на фоне ее свет солнца был разительно ярк. Клубящийся верхний край тучи снежно белел, он уже достиг солнца, а тень холодком ползла по земле. И этот резкий свет, и надвигающаяся на него тень - все было какое-то предгрозовое.

Тень закрыла передовую, начала краем взбираться на высоты. И когда она перевалила их, короткими молниями сверкнули артиллерийские залпы. В тот же момент воздух с шумом стал раздираться множеством летящих снарядов.

Сжавшись в окопах, мы ждали. Зажмурясь. Упираясь лбами в колени. Грохот обрушился сверху, в дыму и пыли потопив все. В какой-то миг показалось, что задыхаюсь. Я разорвал воротник гимнастерки. Сверху рушилась земля. На головы, на согнутые спины, словно заживо погребая нас.

На сколько рассчитана артподготовка? На полчаса? На час? Надо пережить. Когда она кончится, начнется главное: пойдут танки. А позади километр земли, обрыв и - Днестр.

## **ГЛАВА XI**

Оглохшие, засыпанные землей, мы поднимаемся в полуобвалившихся окопах, воспаленными глазами вглядываемся из-за бруствера,- танки! Они идут, обтекая высоты, в пыли и дыму, танки. В бинокль я вижу, как движутся над кукурузой бронированные желтые башни с длинными стволами, а позади, по примятым просекам, бежит пехота, сквозь дым блестя касками. Я смотрю и не могу оторваться, у меня наступило какое-то торможение. Рев моторов движется на нас, и ни одного нашего разрыва на всем поле.

- Связь! - кричу я наконец.

Шумилин подает трубку. Мельком вижу его лицо, землистое от въевшейся глинистой пыли. Сухие землистые губы. Рядом Коханюк ставит стереотрубу. Она валится ему на руки. Снова ставит. Снова валится. Глядит на меня испуганными

глазами.

- Ножку выпусти! - кричу я ему. И тут же забываю о нем: первый разрыв мой встает на поле. Значительно впереди.

- Товарищ лейтенант! - кричит мне радист. Кажется, Теплов. Я еще не запомнил их хорошенько. Большие, косящие от волнения глаза. Пыльные ресницы. Указывает на поле. В пехотной траншее происходит какое-то движение. Один пехотинец выскочил. Ползет на четвереньках.

- Сволочи, что делают!

Пехотинец вскочил, путаясь в полах шинели, бежит к нам. Упал. Больше не встает.

Трах!

Меня обдаёт землей. Радист, только что стоявший рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся. Вздрыгнул. Затих. Одна нога остается поджатой к животу.

Тррах!

На минуту глохну. Рот полон теплой тошнотной слюны. И тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля.

- Огонь!

Уже все поле в разрывах. Мгновенные вспышки в дыму. Мелькнув, исчезают автоматчики. И снова возникают. Справа, оглушая, хлопают противотанковые пушки.

- Огонь!

Кто-то дергает меня за ремень:

- Пригнитесь, товарищ лейтенант!

И тут вижу, как впереди бруствера все расчистилось - и только мгновенно возникающая пыльца и треск разрывных пуль. Кукурузу точно сбрило.

Пробив дым разрывов, выскакивает танк. Орущая толпа автоматчиков.

- Огонь!

Что-то говорит Шумилин. Вижу, как шевелятся его серые губы, и ничего не пойму. Хватаю трубку. Нет связи! Шумилин стоит у аппарата точно приговоренный. Второй радист возится на дне окопа у своей рации. Спешит.

- Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!.. Пальцы от поспешности дрожат.

- Ну!

- Сейчас, сейчас...

Он готов заплакать. Чертова техника! Пока боя нет, хоть последние известия слушай. Как бой - отказывает.

- Быстро по связи! - кричу Шумилину и стараюсь не смотреть на поле, чтоб не видеть приближающийся танк.

Шумилин хватается аппарат, катушку и только подымается над бруствером - тррах! Еле успеваем присесть. Он оборачивает ко мне странно изменившееся лицо, с посветлевшими, какими-то отчаянными глазами, хочет что-то сказать, но говорит только: "Стреляют!" - растерянно и жалко.

- Связь давай! - кричу я на него, боясь поддаться жалости.

Засуетившись, он поспешно лезет из окопа. Последними уползают за бруствер его длинные, в глине сапоги.

- Провод дерните! - кричит он уже оттуда.- Чтоб не спутать мне.

И едва успеваает отползти - тррах!

- Шумилин!

Высунувшись, ищу его глазами. Нету. Потревоженная кукуруза указывает след. У меня отлегло от сердца: жив.

- Товарищ лейтенант! - зовет меня радист. Он нашел повреждение.

Повернув рацию задней стенкой ко мне, показывает дыру от осколка. Всовывает в нее палец. Лицо радостное: он не виноват.

Стискиваю зубы, чтоб не обругать его. И тут замечаю Коханюка. Сидит в углу окопа, острый носик в крупных каплях пота, широко распахнутые вздрагивающие глаза. Вот бог послал разведчика. С ним не воевать, нос ему утирать.

- Гранаты неси! - кричу на него, чтоб не видеть его рядом.

В кукурузе артиллеристы разворачивают пушку. Успеют или не успеют?

Оттого, что я ничего не делаю в такой момент, меня все раздражает. И Коханюк и радист. Набрасываюсь на радиста:

- Выкинь ты свою рацию к чертовой матери!

Не отрывая от меня испуганных глаз, он пятится в землянку, увлакивает рацию за собой. Какие-то стекла пересыпаются в ней и гремят.

Трах!

Я успеваю заметить, откуда бьет. Это из посадки справа, "фердинанд". Высунется, выстрелит и упрется назад. Если его не уничтожить, он эти пятидесятисемимиллиметровки в кукурузе расцелкает по одной. А у меня связи нет.

- Связь! - кричу я Коханюку.- Ну, быстро! Тут сзади наклоняется в окоп чье-то незнакомое грязное лицо.

- Артиллеристы?

- Ну!

- Девятьсот шестнадцатого полка?

- Ну, говори!

-- Связист ваш там, в воронке. Раненый.

Хватаю автомат:

- Ждите здесь.

Выскакиваю из окопа. Петляя, бегу между разрывами. Кукуруза кончается. Пустое, голое место. Низкая трава. Разрыв! Падаю. В бомбовую воронку скатываюсь головой вниз. на дне ее, на чьей-то шинели, лежит Шумилин, голый до пояса. Рядом мальчишка-пехотинец, тоже раненный и перевязанный уже.

- Да лежите вы, дядя,- просит он плачущим голосом, беспокойно оглядываясь и удерживая Шумилина. Но тот опять пытается встать, хрипит:

- Помощь мне!

И вдруг увидел меня. Глаза, горячечные, сухие, потянулись ко мне

исступленно:

- Помощь мне, товарищ лейтенант! Жена умерла, получил письмо... Нельзя умирать мне... Детишек трое... Помощь мне надо!..

И рвется встать, словно боясь, что, лежащего, смерть одолеет его.

- Сейчас перевяжу! Лежи!

А вижу, что ему уже ничего не поможет. Руки, ребра - перебито все. Даже голенища сапог исполосованы осколками. Он истекает кровью. Снаряд, видно, разорвался рядом. Как он жив до сих пор? Наверное, одним этим сознанием, что нельзя ему умирать.

- Сейчас, сейчас,- говорю я и не могу выдержать его просящего взгляда.

- Намучился я з ним,- жалуется пехотинец.- Тут такэ робыться, а вин нэ лежить. Нэ чулы, товарищ лейтенант, отбили немца?

- Отбили...

Я рву рубашку Шумилину на широкие полосы, бинтую, и они сразу же намокают кровью. Так вот почему Шумилин не хотел идти на плацдарм. Дети! Этого я еще не понимаю, но чувствую, что ради детей на все можно пойти. Даже на унижение. И все-таки он ни на кого не переложил свою судьбу.

По краю воронки, загорая небо, пробегает боец. От его сапог сыплются вниз комья глины, Еще один пробегает. Все туда, к Днестру... Пехотинец смотрит на них снизу, оглядывается на меня. Потом карабкается из воронки, цепляясь за землю здоровой рукой. Я его не удерживаю - сам не знаю, отчего вдруг пожалел.

Шумилин дышит неровно, широкие ребра то проступают сквозь кожу, то опадают. И все ближе, слышней клочотание в горле.

- Снаряд... в ногах разорвался,- говорит он сквозь это мокрое клочотание.- С танка... Не слышал даже... Там...

И пытается показать рукой, но только чуть шевелит голым плечом.

Перебитая рука, обескровленная, с белыми синеющими ногтями, остается бессильно лежать на земле.

- Порыв где? На болоте?

- Не проложил он,- стонет Шумилин.

Как не проложил? Я сам посылал туда Мезенцева проложить по болоту связь. Вернулся дрожащий, мокрый еще...

Сознание то разгорается, то меркнет в глубине зрачков, и взгляд у Шумилина ускользающий. Кажется, он уже не понимает меня. Только стонет:

-- Там... нитка... Наверху...

И все пытается показать рукой.

- Понятно! Лежи!

Наверху происходит что-то странное. Отсюда видно только желтое от пыли небо и вспыхивающие в нем ослепительно белые разрывы зениток. Но стрельба явно приблизилась. Я не могу бросить Шумилина живого и не могу больше оставаться здесь. Тряпки под моими руками уже все напитались кровью. Глупо, но мне кажется, что они вытягивают из него последнюю кровь. Ее невозможно остановить. Зрачки Шумилина закатываются под верхние веки, но он усилием возвращает их назад, словно не давая себе уснуть. Я закрепляю последний бинт. Беру его катушку, аппарат.

- Шумилин,- стоя над ним, говорю я громко, чтоб он слышал меня.- Сейчас я пришлю санитаров. Понял меня? Минут двадцать обожди.

Он начинает беспокоиться, сознание сразу возвращается к нему. Не оборачиваясь, лезу из воронки. Рыхлая земля едет под сапогами вниз, крошится в руках. уже сверху оглянулся. Шумилин силился встать. Кровь пошла у него горлом, течет по небритому подбородку, по голой груди, на бинты. Он захлебывается ею, но расширенные, как от удушья, испуганные глаза пытаются остановить меня. Понял, что я бросаю его.

Много раз после вспоминал я, как смотрел на меня умирающий Шумилин. Я и до сих пор вижу его глаза. И уже никогда ничего не смогу ему объяснить. Но за Днестром стояли мои пушки и не стреляли, потому что не было связи. А немецкая артиллерия с закрытых и открытых позиций крушила все на плацдарме.

Мне нужно было воевать. И, отвернувшись, чтоб не видеть, я выскочил из воронки.

С аппаратом в руке, согнувшись, бегу по полю.

"Ви-и-у-у!" - из-за края поля нарастающий вой мины. Падаю. Прижимаюсь щекой к жесткой, щетинистой, сухой и теплой щеке земли. Разрыв! Прижимаюсь изо всех сил. Как трудно от нее оторваться! Еще разрыв! Отрываю себя от земли.

Среди многих проводов, ползая на коленях, ищу свой провод. Отсюда поле подымается постепенно, и мне не видно, что там происходит, кроме встающих дымов разрывов. Изредка в кукурузе появляются люди, бегут вниз стороной, словно скрываясь от кого-то. По частой стрельбе противотанковых пушек, по сплошной трескотне пулеметов и автоматов чувствую, каков накал боя, и кажется, он приближается сюда.

В одном месте, зажав в кулаке провод, лежит пехотный связист в обмотках. Рядом воронка мины. Голова связиста втянута в плечи. Успел только сжаться во время разрыва и так и остался уже. Не зная, чей это провод, я соединяю концы и ползу дальше. Вдруг точно такая же связь, как моя, попадает мне: красный глянцевый провод. Но мой должен идти по болоту. Я все же подключаю аппарат. Кричу, кричу - и на том и на другом конце провода молчат. Неужели в обе стороны порыв? Взяв провод в руку, бегу по нему к Днестру. Порыв оказывается близко. Нахожу второй конец. Лежа срываю зубами изоляцию, подключаюсь:

- "Щука", "Щука", я - "Карась"! И - радостный голос из-за Днестра:

- Товарищ лейтенант!..

Это мой провод. Значит, Мезенцев не проложил тогда связь. Сволочь! Теперь я вспоминаю: как раз тогда начался обстрел по болоту. Я еще подумал: "Неплохо, пусть поучит его". Такого поучишь. Пересидел где-то, отключившись, и вернулся мокрый, будто по болоту лазал. Вот он отчего беспокоился, в глаза не смотрел. "Товарищ лейтенант, вы же культурный человек..." Недаром я



всегда ждал от него подлости. Нагадил и скрылся. А Шумилин убит. Всю войну провоевал. И детей трое. За кого-то теперь сиротами.

Я лежу под обстрелом, сращиваю провод. В трубке уже голос Яценко:

- Мотовилов! Где ты провалился, черт бы тебя взял? Что у вас там происходит? Связь перебило? Связистов по линии гони. Жалеешь их! - кричит он оттуда.

Несколько мин обдают меня землей. Проклятое место. От грохота уши точно заложило. Чей-то связист, рыскавший по полю на четвереньках, валится на бок. И вдруг что-то взорвалось во мне.

- Чего вы кричите! - ору я в трубку, стараясь перекричать все, что творится вокруг.- Вы на меня сейчас не кричите! Ясно?

С тяжелым гулом, придавив на земле все звуки боя, проходят над плацдармом наши бомбардировщики. Я еще долго не могу говорить, во мне все дрожит. Потом докладываю обстановку.

За гребнем уже черной стеной встает дым, и земля подо мной вздрагивает от бомбовых ударов. Отключаюсь и иду туда. Пот ест лицо, щиплет потрескавшиеся губы. Внезапно в кукурузе часто и оглушительно захлопали противотанковые пушки, раздались крики, и, мгновенно возникший, несется сюда рев мотора. На бегу стягиваю через голову автомат. Ремень зацепился за пилотку, пилотка падает. Подбираю ее и вижу вдруг: низко над кукурузой, распластав крылья, вспыхивающие мгновенным огнем, идет на бреющем полете наш штурмовик. Под ним, стремясь уйти, ломится меж стеблей немецкий танк прямо на батарею. И видно, как артиллеристы, стоя на коленях за щитами, торопятся.

Пак! пак! пак! пак! - частят пушки.

Из кукурузы, пригнувшись, выскакивают несколько пехотинцев.

- Стой! - кричу я.

Над нами, толкнув ревом мотора, пронесется самолет. Один пехотинец, не видя, набегаем на меня. Раскрытый, задыхающийся рот, опустошенные страхом глаза.

- Стой!

Он останавливается.

- Ложись!

Двое других тоже ложатся. Близкий взрыв. Танк стоит, развернувшись в обратную сторону.

- За мной!

И первый бегу по кукурузе, обвешанный катушкой, телефонным аппаратом, биноклем. Аппарат, сползай на живот, бьет по коленям. Автоматная очередь. Падаю. Отползаю в сторону. Еще очередь. Горячий удар по ноге. Выше колена. Прижимаюсь к земле. Сверху падает на меня срезанный пулями кукурузный лист. Земля сухая, теплая, лезет в нос. Осторожно оглядываюсь. Пехотинцев уже нет. Смылись все-таки. Чувствую, как кровью намокает штанина, и от этого сразу слабею. Тошнота подкатывает к горлу. Немец где-то рядом. И видит меня. А мне он не виден.

Над нами самолет делает круг. Я лежу ничком. Катушка на спине, по ней меня сразу можно заметить. Осторожно отстегиваю ляжки, шевелю плечом - катушка сваливается на землю. Немец не стреляет. Это, должно быть, танкист. Ему надо пробиться к своим. Я тихонько просовываю приклад автомата меж стеблей, трясущая слева от себя кукурузу. И сейчас же - очередь! Не видит меня, на шорох бьет, туда, где шевелится кукуруза. Немного погодя трясущая стебли правей. Их сейчас же срезает. Вот он откуда бьет! Метрах в шестидесяти от меня, озираясь, отползает с автоматом в руках танкист в черном, вываленном в пыли обмундировании. Прижимаясь к рыхлой земле, осторожно ползу за ним. Раненую ногу жжет, колено мокро от крови. Немца уже плохо видно, только мелькает за стеблями. Плечом вытираю потную щеку. Прикладываюсь к автомату. Пот заливает глаза. Немец то возникает на мушке, то исчезает. Не разглядеть. Тогда резко свищу. Шевеление стихло. Потом за стеблями понемногу приподнимается светловолосая голова. Даю очередь. Голова падает. Жду. Тихо. Подношу к глазам бинокль. Приближенный десятикратно, танкист лежит затылком

ко мне, так близко, что кажется, дотянешься рукой. Крови не видно. Несколько стеблей у самой головы срезано пулями до основания, торчат низкие пеньки. Не попади первый, вот так бы я лежал сейчас.

Недалеко от танка, в широкой борозде, оставленной гусеницей, валяется другой танкист, без мундира, в нижней рубашке. Сколько их было? Трое? Четверо? Выскакивали, видно, через нижний люк. Танк стоит совершенно целый, пятнистый, как немецкая плащ-палатка. Только без гусеницы, и спереди сплавившаяся дыра. Если забраться под него, лучше НП не выдумаешь. Немцы по нему стрелять не будут.

Бросив катушку и аппарат, хромя, бегу по кукурузе в свою землянку. Каждый шаг горячей болью отдается в ногу. Пули уже посвистывают густо, сшибая верхушки стеблей. Бегом, ползком добираюсь, спрыгиваю в траншею. Пусто. Ни Коханюка, ни второго радиста нет. Все брошено. Только убитый по-прежнему лежит в углу, засыпанный по плечи землей. Ждали, наверное, меня, приказаний никаких нет, танки, обстрел. Быть в бою и не стрелять - не у всякого нервы выдержат. Забегаю в землянку. После жары, и солнца - сыроватый дух погреба. Плащ-палатка с нар содрана, шинели моей нет. Только фляжка висит на колышке, вбитом в стену. Срывало фляжку. Пью, перевожу дыхание и снова пью. Вода выходит из меня потом. Пустую фляжку бросаю на нары. Прислушиваюсь к стрельбе сверху, расстегиваю брючный ремень. Рана пустяковая, но перевязывать трудно. Такое место, что повязка едет вниз, на колено. Вот если немцы захватят в таком положении, с подолом гимнастерки в зубах.

Кое-как закрепляю бинт, поспешно застегиваю ремень и сразу чувствую себя уверенней. В тугой повязке рана спокойней. Передав на тот берег, что буду менять НП, отключаюсь, с автоматом в руке перемахиваю через бруствер.

Кто-то, тяжело дыша, лезет ко мне под танк. Отрываюсь от бинокля. Сержант с красным, потным лицом. Воротник гимнастерки расстегнут, пыльный

чуб торчит из-под пилотки, веселые глаза подмигивают дружески.

- Молодец, лейтенант! - хрипит он, и шея надувается.- Самый мировой НП.

В трубке докладывают мне с огневых позиций:

- Выстрел!

Два мощных разрыва встают в кукурузе перед "фердинандом".

- Твои? - хрипит сержант.

Мне некогда ответить. Самоходка пятится, сейчас уйдет в посадку. Кричу новый прицел. Разрыва жду с замершим сердцем. Взлетела земля. Уходит!

- Пять снарядов, беглый огонь!

Взрывы. Дым. Огонь. Черные смерчи земли. Когда опять становится видно, "фердинанд" стоит на оголенной перепаханной земле. Как будто даже не подбитый. Стоит и не шевелится больше.

- Сволочь! - говорит сержант.- Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло.

От самоходки пригибаясь, бегут три черные фигурки.

- Дай по ним!

- Ну да! - говорю я.- Снаряды тратить!.. Мы смотрим друг на друга и смеемся. И отчего-то вдруг легко становится, словно груз с плеч.

- Житуха вашим огневикам! - завидует сержант.- Детей нарожать можно.

Так и сидят за Днестром?

- Так и сидят.

Под танком бензиновая вонь. А в стеклах бинокля - слепящее солнце, желтая кукуруза, зной. По всему полю встают дымы разрывов. Среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. Пулеметы захлебываются. Уже ясно, что оборона устояла. Сейчас немцы перегруппируются и полезут снова.

Сержант куда-то исчез. Возвращается с буханкой хлеба и какими-то бумажными стаканчиками. Лезет под танк, прижимая их к груди. Хрипит:

- Рубать хочешь?

Двоим нам тесно под танком, но веселей.

- Ты где голос потерял?

- Танки шли...

Он распечатывает один стаканчик. Мед. Вот бы чего сейчас: холодной колодезной воды. Чтоб зубы ломило. У меня до крови растрескались губы, язык распух. Даже слюны во рту нет. Сержант опять исчезает. Вижу, как он по широкому следу гусеницы ползет к убитому танкисту. Что-то делает около него. Возвращается с фляжкой. Лежа на животе, задрал голову,- на здоровой шее напрягаются все мускулы,- пьет. Потом передает мне. Ром. Все же пью. Растрескавшиеся губы щиплет, как от спирта.

Сержант финкой достает тянущийся мед из бумажного стаканчика, ест, подмигивая мне хитрым глазом:

- Так воевать можно!

И хохочет. Зубы у него влажно блестят сладкой слюной. Мне становится завидно. Беру второй стаканчик, отламываю хлеба. Лежа под танком плечо в плечо, едим и наблюдаем. Мед белый, отдает каким-то лекарством.

- Он у них искусственный,- говорит сержант: он все знает.-

Синтетический.

И опять подмигивает. Это у него привычка. Оказывается, я здорово хотел есть. Жую хлеб, и песок хрустит на зубах. Сухая земля, и трава, и хлеб - все под танком воняет керосином. С полным ртом, прожевывая, сержант кивает вверх на днище танка:

- Не пробовал, башню не заклинило?

- Не пробовал. Снаряды видел. Есть. Мне тоже пришла и голову эта мысль: в случае чего - стрелять из танка. Сержант ест, напряженно думает.

- Ты пушку ихнюю знаешь?

- Сообразим,- говорит он.- Наводчик же.

После меда горло дерет от сладкого, невозможно без воды. Проткнув пустой стаканчик финкой, сержант кидает его за плечо.

- Запасливый народ немцы. Покормили и снаряды оставили.

Он пучком травы вытирает лезвие, поплевав на него. И тут слышим мину.

Она разрывается метрах в двадцати от нас. И сейчас же вторая. За танком. Отползаем вглубь. Закрываем головы руками. Неужели заметил? Еще несколько мин рвутся вокруг нас. Железные осколки со звоном бьют по броне, по гусенице. Дым. Ничего не видно. Когда редет дым, видим танки. Пятнистые в желтой кукурузе, они движутся со всех сторон, выплескивая из стволов длинные молнии. И по всему полю резко бежит пехота. Хватаю трубку, дую, кричу...

Перебило связь!

- Лейтенант! - хрипит сержант откуда-то сверху.- Э, друг! Давай сюда!

Лезу к нему в нижний люк. Ударяюсь головой о какой-то железный угол. Слепой от боли, шарю пилотку в темноте. Руки натыкаются на что-то скользкое и мокрое. На минуту гадливое чувство. Вытираю ладони о тряпье. Впереди, в низком сиденье, запрокинутая голова танкиста, слипшиеся в крови волосы.

- Порядок! - Сержант лязгает затвором.

Мы разворачиваем башню, ждем, чтоб не открывать себя раньше времени. Видно только вперед и немного вбок, и мы плохо понимаем, что происходит. Танки идут не все. Штук пять остановились в низине и оттуда ведут прицельный огонь. Чьи-то самолеты ревут над нами.

- Давай!

Выстрел глушит. Подаю снаряд. Танк наполняется газами. Трудно дышать. Он целится долго. Мне ничего не видно, от этого я нервничаю, мне кажется, он пропустит танк.

- Давай!

Он ждет. Потом выстрел. Падает к ногам горячая гильза. Торопясь стреляет. Стою со снарядом в руках. Выстрел. Снаряд. Танк где-то близко. Не вижу, чувствую только. Стреляй же! Спина его как каменная. Вместе с выстрелом отклоняется. И сейчас же приникает опять. Кричит что-то.

- Что?

Он отклоняется, и я вижу: в кукурузе горит танк. Сержант гладит казенник пушки. Смеется. Черная от копоти рука вздрагивает. И тут вижу,

левой нас в посадке сбилась наша пехота. Над головами чья-то рука трясет пистолетом. А сверху пикируют на них "мессершмитты". И два танка, обходя горящий, стреляя с ходу, мчатся сюда.

- Стреляй!

Когда он приникает к пушке и я перестаю видеть, мне опять кажется, что он медлит. Выстрел. Глохну. Снаряд. Выстрел. Поле сквозь узкую прорезь все в разрывах. Солнце перевалило высоты, слепит глаза, и трудно стрелять. Раскаленное солнце. И дым. И кажется, все в танке раскалено. Сержант рукавом размазывает по лицу грязь. Мы стреляем, стреляем, оглохшие, и что-то кричим, не слыша своих голосов. Это как исступление.

Еще один танк горит в кукурузе. Кто подбил? Быть может, мы. Подавая снаряд, слышу частую стрельбу противотанковых пушек. Кукуруза горит. И дым все сильней. Клоками его несет через нас. Откуда дым? Он уже слепит. И пахнет гарью. Мы уже плохо видим друг друга. Это где-то близко горит. Я подаю снаряд и кричу ему в ухо:

- Погляжу, где горит!

Не отрываясь, он дергает головой. Я выползаю через нижний люк. Горит кукуруза позади нас. Горит земля. Сплошной черной полосой. Дым уже накрыл противотанковую батарею. Она стреляет оттуда, из дыма. Ветром огонь несет к нам. Едкий белый дым ползет по земле. От танка до кукурузы метров сорок. Сухая трава. По ней огонь пойдет как по шнуру. В танке горючее в баках. И снаряды. Спасение одно: перекопать землю. Но ничего не успеем и нет лопат. Нам уже не уйти. Я возвращаюсь в танк.

- Что там? - кричит сержант, обернувшись, протирая слезящийся глаз.

Не отвечаю, беру снаряд.

- Горит где?..

- Стреляй!..

Глаза наши встречаются. И он понимает все. Сузившимися, похолодевшими зрачками смотрит на меня. Больше мы не говорим. Стреляем, стреляем как

одержимые. Солнце раскаленное, огненное. Кашель рвет горло. И голова пухнет. И ярость подымается в душе. И отчего-то обидно. Не знаю, на что. Но так обидно никогда еще не было в жизни.

Осколки бьют в броню, как в колокол. Разрыв! Разрыв! Потом сразу резкий свет, словно вспыхнуло все, ударяюсь обо что-то твердое, и - пустота. Подымаюсь на дрожащих ногах. Сержант стонет, держась за живот. Переступая по выскользывающим из-под ног гильзам, подхожу к пушке. Стою, держась за нее. Перед глазами все плывет. Слабыми руками пытаюсь развернуть ее. Заклинило.

Сержант сидит внизу белый, сжав губы. По пальцам течет мокрое и черное. Я наклоняюсь к нему, он пытается улыбнуться:

- Хана!..

Как в тумане тащу его через нижний люк. И когда вылезает, вижу: горит весь плацдарм. А из огня все еще стреляет противотанковая батарея. Цельной обороны уже нет. В разных местах вспыхивает, перемещаясь, стрельба. Только немецкие танки, стоя открыто, стреляют в огонь из длинных стволов, добивая тех, кто еще сопротивляется.

Пытаюсь взвалить сержанта на бедро. Он тяжелый, размякший, у меня не хватает сил. Разрыв! Сержант перестает стонать...

- Сейчас, сейчас...

Я тащу его ползком. Трава уже дымится. Огненные искры, красные хлопья сажи летят в лицо. Замечаю, что гимнастерка на мне тлеет. Прихлопываю ладонями огонь. Дым ест глаза. Прижавшись лицом к земле, дышу и ползу опять. В ушах звон. И отовсюду пересекающиеся огненные трассы.

- Сейчас, сейчас! - Я повторяю это, как в беспамятстве.

Сердце колотится в висках. Кто-то, хрипя, дышит рядом. Оглядываюсь. Это я дышу. Кашель душит. Подсовываю два пальца за воротник, дергаю, обрывая пуговицы. Нет воздуха. Сердце выскочит сейчас. И тащу, тащу его на себе, ничего не соображая, задыхаясь, с разъеденными дымом, слепыми от слез глазами, через огненные искры, через трассы пуль, с шипением впивающихся и



землю.

Руки мои проваливаются. Окоп. И сейчас же страшный взрыв. Там, где была батарея. Больше она не стреляет. Втаскиваю за собой сержанта, волоку по ходу сообщения. Чья-то брошенная землянка. Солома на нарах вся шевелится, кишит мышами. Они бегут сюда отовсюду, с писком выскакивают из-под ног. Огонь и дым гонят их сюда. Я разрываю на сержанте гимнастерку. Он лежит безжизненно, отвернув голову. И тут вижу крошечную ранку над ухом. И кровь. Я тащил его уже мертвого. И руки мои в его крови.

Кто-то в тлеющей шинели сваливается сверху. Сидя на дне окопа, с обезумевшими страшными глазами, размазывает по лицу копоть, кровь и пот. Сухое рыдание, как спазма, рвет его горло:

- Пропали! Горит все!..

Я глянул вверх и увидел над собой солнце. В черном дыму стояло над плацдармом слепое, расплывшееся солнце.

Уже в сумерках мы контратакуем. Гаснущая за высотами беспокойная заря светит в лицо нам. После короткой артподготовки, поддержанные минометами, мы выскакиваем из леса, и нам удается сбить незакрепившихся немцев. Мы гоним их по черной, покрытой пеплом, кое-где дымящейся земле. Пуля перебила у меня автомат, и я бегу с одним пистолетом. Около брошенных артиллерийских позиций, среди убитых коней, зарядных ящиков, разрытой снарядами земли завязывается рукопашный бой. Новая волна немцев накатывается на нас. Они выскакивают из-за гребня, черные со стороны света. Длинный немец с занесенной рукой - в ней что-то блеснувшее - набежал на меня. Я успеваю скрестить над головой руки. Удар приходится в них. Поймав за кисть, удерживая другой рукой, выламываю запястье. Близко задохнувшись от боли расширенные зрачки, табачная вонь чужого рта, сдавленный крик. Зверая, мы ломаем друг друга. И тут страшный удар сзади - и все, качнувшись, повернулось перед глазами: и немец, и накренившаяся полоса заката... Удар о землю на минуту вернул сознание, и я вижу, как множество ног в обмотках,

только что бежавших вперед, с той же быстротой мимо, мимо меня бегут обратно. Выстрелы. Крики. Дым близкого разрыва. Я пытаюсь ползти за ними, кричу. Кто-то дышащий с хрипом, пробегая, кованым ботинком наступил мне на руку. И с облегчением чувствую, как беспмятство наваливается на меня...

Никогда я не видел такого холодного, пустого, далекого неба, какое было надо мной в эту ночь. Я очнулся от холода на земле. Знобило. Но рту был железистый вкус крови. Где-то отдаленно стреляли, и красные пули цепочками беззвучно летели к далеким звездам и гасли. Я осторожно потрогал затылок, вспухший и мокрый, - боль обожгла глаза. Лежа на земле, я плакал от слабости, и слезы текли по щекам, а свет звезд дробился в глазах. Потом я почувствовал себя тверже.

Недалеко от меня темнела убитая лошадь, стертая металлическая подкова голубовато блестела на торчащей вверх задней ноге. Я вспомнил, что тут артиллерийские позиции, и сообразил, что сюда придут. Пошарил около себя на земле пистолет. Его нигде не было. Одна граната уцелела на поясе. Встав на четвереньки, пополз, часто останавливаясь от слабости и прислушиваясь. Две черные тени в касках, хорошо видные на фоне неба, двигались стороной, бесшумно. Иногда они останавливались там, где слышался стон. Красный огонь, удар выстрела, и, постояв, они двигались дальше. И снова останавливались, снова вспышка, выстрел - и дальше шли. Переждав, я пополз со всей осторожностью. Ладонями по временам я чувствовал теплый пепел, земля кое-где еще дымилась, и ветром раздувало красные угли.

Я полз по своей земле, где каждая тайная тропочка, любой бугорок знакомы, памятливы, не раз укрывали от пули. Тут по ночам вылезали мы из щелей и блиндажей - и те, кто жив сейчас, и те, кого уже нет, - ложились на траву, дышали полной грудью, расправляли затекшие за день суставы. Сколько раз восходил из-за леса молодой месяц, старел, наступала глухая пора темных ночей - лучшее время для разведки, снова нарождался молодой месяц. На наших глазах поднялась здесь кукуруза и скрыла нас от наблюдателей, потом она стала

желтеть, и это тоже было хорошо: не нужно было обновлять маскировку. И вот - пепел. И земля эта - чужая, и я уползаю с нее один, а недалеко черными тенями движутся немцы и достреливают раненых. И так же, как всегда, светят над землей звезды, и уже показался из-за леса желтый рог молодого месяца, но свет его сейчас опасен мне.

Уже близко уцелевшая кукуруза. За ней - дорога. А там - лес. Важно скрыться в лес. Я узнаю это место. Здесь когда-то пехотный шофер пытался проскочить днем на "виллисе", крутанул резко и вывалил полковника.

Внезапно близкий щелчок взведенного курка. Вздвигнув, припав к земле, оглядываюсь. Пепельное небо. Черные стебли кукурузы. Кто там? Наш? Немец? Но немцу зачем прятаться? А может быть, раненый. Мне кажется, я слышу дыхание. Или это кровь шумит в ушах? Земля подо мной начинает дрожать. Идут танки. Два немецких танка и бронетранспортер приближаются по дороге. Если в кукурузе немец - все! Он крикнет.

Танки проходят, освещенные луной. В башнях стоят танкисты. В косом свете вспыхнувшего фонарика - пыль как дым. Лежа снимаю гранату. Не кричит. И уже шелохнулась надежда: наш.

За танками негусто валит пехота. Короткие сапоги, вздымающие пыль, тускло блестящие каски, расстегнутые мундиры, засученные рукава. Некоторые несут автоматы, положив поперек шеи, держась руками за ствол и за приклад. Задние идут по плечи в пыли. И еще один танк, замыкающий. За рокотом и лягганьем не слышно шагов. Мы лежим затаившись, вжимаясь в землю: я и тот в кукурузе. Это наш, наверное, такой же, как я, раненый. Я осторожно ползу к нему.

- Не стреляй! Свой!

Человек приподымается с земли. Панченко!

-- Ползти сюда, товарищ лейтенант!

И ползет мне навстречу.

- Держитесь за меня.

Неловко он пытается обхватить меня за спину.

- Пстой. Я сам.

В неосевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу.

Неотдышавшиеся, сидим в кустах, в тумане и шепчемся, как гуси в камыше.

- Мышко! Панченко!

Я говорю какие-то слова и, точно слепой, трогаю его лицо руками, глажу по щекам. Я чувствую - могу разреветься. А он жметя: неловко ему. И мне уже неловко, и мы молчим, смотрим друг на друга и молчим, и хорошо бы закурить сейчас. Мы только что могли пострелять друг друга.

- Мышко! Черт окаянный! Ты знаешь, как ты меня напугал?

-- Я сам злякался!

И улыбается.

- А ты искал меня?

Искал, оказывается. Ползал по полю от убитого к убитому, переворачивал лицом к свету и полз дальше. Пехотинец какой-то сказал ему, что видел, как убило меня, и он полез сюда. Из всех людей в эту ночь он один не поверил, что я убит, и, никому не сказал, полез за мной. Это мог бы сделать брат. Но брат - родная кровь. А кто ты мне? Мы породнились с тобой на войне. Будем живы - это позабудется.

Мне отчего-то ничего не страшно сейчас. Самое большее, что могут сделать немцы,- это убить нас. Но это, в конце концов, не самое страшное. Сколько уже лет ведут они бесчеловечную войну, а люди остаются людьми.

- Дэ ж ваша пилотка? - Панченко уже критически осматривает меня.

Нету пилотки. Мне всегда доставалось от тебя за непорядок. Ругай и сейчас. Я не понимал прежде, что это приятно - когда тебя ругают.

- И галихве в крови.

- Вот видишь, опять виноват. Не сердись, Мышко, наживем новые галифе. И пилотку наживем, было бы на что надевать.

- Та вы ж и ранены, наверное?

- Не буду больше.

Он укоризненно смотрит на меня своими маленькими, как бы томящимися от усилия мысли глазами. А мне расцеловать хочется его длинноносую, угрюмую, милую морду.

- Дайте ж перевяжу.

- Пошли.

И мы след в след, так, чтоб не хрустнуло под ногой, пробираемся по лесу. Туман подымается из кустов. Пахнет близкой рекой и туманом. Он скрывает нас. В сыроватом воздухе я чувствую от своей гимнастерки, от рук запах гари. Лес полон немцев. Мы слышим их голоса, шаги и несколько раз, затаившись, пережидаем, пока они пройдут.

Где-то близко стучит пулемет. Немецкий. Короткими очередями ему отвечает наш. В тумане звук его глуховатый. Мы идем на этот звук.

Луна уже высоко над лесом, когда мы в тумане переходим к своим.

## **ГЛАВА XII**

Натянув на уши воротник шинели, я лежу под берегом головой в песок. Руки заледенели, а дыхание горячее. И мерзнет спина. Никак не могу отогреть спину. Кутаюсь плотней в шинель, сжимаюсь, чтоб не дрожать. И оттого, что сжимаюсь все время, болит затылок, болят все мускулы, ломит икры ног. А глаза горячие - невозможно поднять.

Кто-то осторожно трясет меня за плечо. Стягиваю о лица шинель. Белый свет режет глаза.

- Нате вот. Пейте.- Панченко, сидя на собственных пятках, протягивает мне фляжку. Из горлышка идет, пар.

Беру ее озябшими руками. Кипяток с ромом. Пью, обжигаясь. Яркое солнце отвесно стоит над головой, а я в шинели не могу согреться. От сверкания воды в Днестре у меня из глаз на небритые щеки текут слезы. Вытираю их плечом,

чтоб Панченко не видел. Он сидит отвернувшись, за двое суток на плацдарме он похудел и почернел, лицо стало шершавое, скулы заострились.

Кто-то рядом, в ржавой от крови, ссохшейся на груди гимнастерке, шепчет, как в бреду:

- Ванюшку Сазонова взяли в лодку, а мне места не хватило... Не пустили...

Тот берег, близкий, зовущий к себе, как жизнь, отрезан от нас водой. Я стараюсь не смотреть туда. Отдаю Панченко фляжку. Лечь, укрыться с головой и не смотреть. Шум ссоры привлекает меня. Близко от нас в водомоине, проточенной в песке ливнями сверху, два бойца ссорятся из-за места и уже толкают друг друга. Один щуплый, молоденький, в накиннутой на плечи шинели. Другой - мордатый, в одной бязевой рубашке с болтающимися у горла завязками. Он, видно, пришел сюда позже, но посильней и толкает щуплого в грудь. Тот не защищается, только при каждом толчке подхватывает спадающую с плеч шинель.

- Я же раньше занял! Вырой себе! - говорит он звенящим обидой голосом, и губы у него дрожат.

Мордатый, сопя ненавистно, отталкивает его в грудь, молча, тупо, и вдруг, исказившись, бьет левой, сжатой в кулак рукой в лицо. Тот зажимает лицо ладонью, и только незащищенные глаза, полные ужаса, обиды, боли, не отрываясь смотрят на мордатого: "За что?"

Я подымаюсь с песка с похолодевшими щеками, от волнения начиная плохо видеть. И в тот же момент: ви-и-у... бах! Оглушенный, осыпанный песком, отряхиваюсь. Ко мне под обрывом бежит Фроликов, заслоня голову рукой, кричит издали:

- Товарищ лейтенант!

Мордатый уже отполз в сторону и в отвесной стене песка обеими руками по-собачьи скребет себе нору, озираясь. Там, где они толкались недавно, лежит распластанная на песке шинель. Панченко, подойдя, приподнял ее, потрогал что-то и опять накрыл шинелью. Возвращаясь, он вытирает пальцы о

голениище сапога.

- Товарищ лейтенант! - подбежал задыхающийся Фроликов.- Комбат велел вам идти к нему.

Проходя мимо водомоины, я глянул туда. Из-под шинели торчали большие солдатские растоптанные сапоги и худая рука с детской, вывернутой вверх грязной ладонью. А мордатый рыл, уже по локти углубясь в песок. С минуту стоял я над ним, сдерживая желание ударить сапогом.

Затихнув, он ждал. Я перенес через него ногу, как пьяный. И долго еще ладонью прижимал щеку, расправляя мускул, сведенный судорогой.

У Бабина уже собралось несколько командиров. Рядом с ним, подогнув под себя маленькую ногу в хромовом сапоге,- Караев, замполит соседнего полка. Он горбоносый и, по глазам видно, горячий. Большая голова в жестких курчавых с проседью волосах, несоразмерно узкие плечи, весь маленький, с маленькими желтыми кистями рук. Когда я подхожу, Караев кричит кому-то, волнуясь, от этого сильнее чувствуется гортанный акцент:

- Не бывает отчаянных положений, бывают отчаявшиеся люди!

Командиры сумрачно молчат. Землисто-серые лица. Воспаленные глаза. Оттого, что в щетину набилась песчаная пыль, лица кажутся сильно заросшими. На многих бинты в запекшейся черной крови, и мухи липнут на кровь. Кивнув знакомым, сажусь.

Мне почему-то неприятны слова Караева, как всякие красивые слова в такой момент. Здесь люди, прошедшие войну, а на войне бывают и отчаянные положения, и отчаявшиеся люди. Все бывает, на то и война. Позапрошлой ночью при мне немцы добивали раненых, и я видел, и лежал, затаясь, и ждал, что вот сейчас меня тоже заметят. Кончится война, останусь жив, так, наверное, еще не раз мне это будет по ночам сниться.

Рядом со мной пехотинец, по виду из пожилых солдат, в солдатских ботинках, перематывает обмотку. На плечах его пузырями вздулись мягкие офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек. Завязывая тесемку,

говорит, не подымая глаз:

- Этой ночью, когда раненых перестали переправлять, пятеро у меня сразу померло. И раны не очень чтобы так уж... Могли бы жить.

Кто-то выругался тоскливо сквозь зубы. Командир пешей разведки в зашнурованных на икрах брезентовых сапогах, с нервным лицом глянул на него темными раздраженными глазами и, подняв финку, опять швырнул ее в песок. Он начертил круг в песке между параллельно поставленных подошв, положил в центре щепку и, подымая финку за конец, швыряет ее натренированной рукой и раздражается, что не может попасть в центр.

Слышно, как у ног Бабина дышит овчарка. Высунула мокрый дрожащий язык и часто носит боками: жарко, А я не согреюсь в шинели. И еще двое-трое таких же озябших от малярии, словно зимой, кутаются, подняв воротники.

Позади нас плещется Днестр, блестящий на солнце, желтый песок того берега, зеленые сады, заслонившие хутор, синее чистое небо. Днестр в этом месте не широк, но жизни не хватит переплыть его.

Я смотрю, как Рита в яме, вырытой под корнями дерева, водкой промывает Маклецову плечо. Маклецов тяжело дышит, у него сохнут воспаленные, распухшие губы, он то и дело облизывает их. Лицо желтоватого, нехорошего оттенка, глаза беспокойные. Мне кажется, у него началось заражение крови. Трое суток назад, убежав из медсанбата, он переплыл Днестр; я и сейчас вижу, как он шел за Бабиным по кукурузе, неся в руке сапоги, которые снял с санитаря. Неужели это было только трое суток назад? Рита стоит перед ним на коленях, юбка обтянула ее бедра, и многие поглядывают на нее.

Трое суток назад нас было два полка. И еще минометы, противотанковая, дивизионная артиллерия, тылы. Верных четыре тысячи человек. Четыре тысячи! Остатки двух полков жмутся под обрывом по берегу. Выгоревшие добела гимнастерки, бязевые рубашки, обмотки, бинты, бинты... А сверху немцы. Нет окопов, только норы в откосе. В какую сторону ни посмотри, все роют, роют - саперными лопатами, обломками досок, скребут руками, крышками котелков,



зарываясь в песок.

Мы так тесно сбились под берегом - люди, повозки, лошади, техника,- что каждый снаряд попадает. Песок у воды в свежих ранах воронок, волна лениво залиывает их. Наша артиллерия с того берега бьет через нас; при каждом разрыве сверху валятся комья земли. Немецкие снаряды, провизжав над нами, рвутся вниз. И все живое снизу теснится под берег, в мертвое пространство, хоть радиатором, хоть колесом, хоть краешком попасть сюда. На минуту затихает возня, потом в гуще разрывается снаряд, и все опять приходит в движение. Повозки, машины, кухни, сдавливая друг друга, лезут под берег,- крики, треск, матерная брань, пронзительное лошадиное ржание. Мы прижаты к Днестру. Ни от нас, ни к нам переправы нет. Даже раненых нельзя переправить. От связи остались клочья. Только теперь я понимаю, как это было на том плацдарме. Вот так же все сбились под берегом, прижатые к воде, потом - артподготовка... Мы только слышали ее. А ночью в мою лодку толкнулся мертвец...

На левом фланге снаряд поджигает грузовую машину. Она горит при ярком солнце, стоя всеми четырьмя колесами в воде. Овчарка у ног Бабина начинает скулить, оглядываясь на людей. Близкий огонь тревожит ее.

Ко мне подсаживается Рита.

- Нагнись. Дай голову посмотрю.

Она руками наклоняет мою голову, начинает разматывать бинт. Через одинаковые промежутки на нем повторяется все увеличивающееся кровавое пятно. Сжимаю губы, когда она отрывает от живого. Потом сажу, нагнув голову, с бинтом в руках, а она трогает пальцами края раны, и мне это приятно. В натянувшихся поперек складках юбки - песок. Между юбкой и голенищами сапог - голые ноги. Грязные колени. Одно колено ссажено до крови, сочится, и песок прилип к нему.

Оторвав влажный, окровавленный конец и бросив, Рита тем же бинтом делает мне тугую повязку. И когда бинтует, лицо ее с поднятыми вверх,

косящими от близкого расстояния глазами - рядом с моим лицом. Она дышит носом, чуть сопя; я чувствую ее легкое дыхание и задерживаю свое. Две тонкие усталые морщинки легли у губ. Я их не видел прежде. И что-то сжимается во мне.

- Ты бы колено себе перевязала,- говорю я, когда она уже застегивает санитарную сумку.

Рита равнодушно глянула на свою ноту, ниже натянула юбку.

Последним приходит Брыль с левого фланга. Когда он прибыл к нам несколько дней назад, румяный, крепкий, он казался человеком из другого мира. Сейчас у него землистое от усталости лицо, провалившиеся глаза. Говорит шепотом: всю эту ночь он с пулеметчиками сдерживал немцев и сорвал голос от крика. Садится на песок, просит соседа, едва слышно сипя, при этом на шее от напряжения вздуваются все вены:

- Дай докурю!..

Когда я вскоре глянул в его сторону, Брыль уже спал, уронив голову. В желтых от табака пальцах дымился газетный обслюнявленный окурочок.

- Что делать будем? - спросил Бабин, обведя всех тяжелым взглядом и остановившись на Брыле.

Сосед толкнул его. Вздрогнув, Брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой.

С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Когда командира другого полка, раненного автоматной очередью в живот, переправили с последней лодкой, она просила, чтоб ее пустили сюда с того берега. Ее не пустили.

Несколько мин разрывается внизу одна за другой: ви-и-у... бах!  
Ви-и-и-у...- еще воеет над головой, а внизу уже рвется: трах! трах! трах!..

- Это еще у него мортир нету,- говорит кто-то, пригнувшись: осколки

долетают сюда,- а то б он нам давно навел концы.

Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, с зазубренными, рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся.

- Вот так и там было.- Бабин кивнул на север.- Прижали к Днестру и - артподготовка! Артподготовки здесь мы не выдержим.

Мы молчим.

- Выход один: вырваться из-под огня! Как только он начнет артподготовку - рвануться вперед!

- А пушки?

Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескровным лицом и забинтованной головой.

- Пушки бросим?

И тут в нас прорывается ожесточение этих дней.

- У него танки, а мы с чем? С этим на танки лезть? - Маленький, ощеренный лейтенант трясет в воздухе автоматом.

Кто-то хохотнул зло:

- Два полка было!..

- У меня в роте двадцать шесть человек!

Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из карманов бумаги, рвет и закапывает в песок. Слепым от ожесточения, нам нужен сейчас виновник. Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок.

-- Не поводу людей на смерть! Умирать, так здесь?

И вдруг:

- Молча-ать!..

В нависшей тишине Бабин, поднявшись, идет к нему. Бледный, с черными страшными глазами. Сапог наступает на пистолет, вдавливая его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина.

- Иди! Туда иди!

Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину. - Плыви на ту сторону! Один! Спасайся!..

Опять внизу разрывается снаряд, в самой гуще, среди повозок. Пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней, волоча разбитую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулись за ними. Повозочные задерживают остальных, хлещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад на берег и оттуда заржал. Мать ответила ему из Днестра, но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой.

Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверху начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде. Слева - направо. Справа - палево. Вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая... Широкая рыжая мокрая спина несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде всплески. Наконец и он смолк. Только жеребенок бегал по берегу, пугаясь волн, и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками.

- Я не умею плавать, товарищ капитан...- сказал старший лейтенант странно прозвучавшим, потерянным голосом. У него дрожали губы.

Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным в песок пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримо отделило его от нас.

- Снять с него погоны,- приказал Бабин хрипло.

С песка поднялся Брыль. Подойдя к старшему лейтенанту - был он на полголовы ниже его,- жмурясь брезгливо и жалостливо, дернул раз, другой, оставив на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно-бледный, он стоял как неживой, и казалось, сейчас упадет на песок.

Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть.

- Пусть идет,- сказал Бабин, все так же не глядя.- Пусть один воюет.

И мы все видели, как старший лейтенант ушел. На минуту дым разрыва закрыл его; но тут же он снова появился. Он шел у воды по мокрому песку среди обломков и разбитых машин куда-то на левый фланг.

Бабин пальцами помял горло. Заговорил не сразу. И голос был хриплый:

- Как только начнется артподготовка, командирам рот, командирам взводов поднять бойцов! Коммунисты - вперед! Вперед, не останавливаясь! Не лежать под огнем! Когда сзади смерть, люди на пулеметы полезут.

Сузившиеся глаза его горят холодно и яростно. И я чувствую, как его возбуждение передается всем. Я начинаю дрожать. Это уже не от малярии.

- Смешаться с немцами! Гнать не отрываясь! Взять высоты! И ни черта нам танки не сделают. Не могут они давить своих!

Он повернулся к начальнику артиллерии:

- Орудия выкатить! По пять пехотинцев на орудие хватит?

- Хватит!

- Командиры рот, дать по пять человек на орудие! Выкатить на руках, огнем поддерживать пехоту! И - вперед! Вперед! Другого спасения нет.

Мы уже вскочили на ноги. Командир пешей разведки сунул финку за голенище брезентового сапога, в лице его отчетливо проступило жесткое, решительное выражение.

- Я к ребятам пошел!..

- Примешь его роту! - Бабин кивнул на то место, где стоял старший лейтенант. Кричит поверх голов: - На левом фланге Брыль. Справа - Караев. В центре поведу я.

Нас охватывает нетерпение. Не спавшие по несколько ночей, измученные, ожесточившиеся, прижатые к Днестру, мы ждали последнего боя с мрачной решимостью. Пути назад не было. И надежды тоже не было. Сейчас нам начинает казаться, что это возможно: прорваться сквозь огонь. Сколько осталось до артподготовки? Никто не знает. Может быть, она начнется сейчас. Торопясь, мы расходимся. В последний момент Бабин задерживает меня:

- Останься!

Фроликов на песке вскрывает банку мясных консервов. Слышно, как дышит Маклецов. Жар сжигает его. Он все время пьет из фляжки и тут же опять облизывает сухим языком вспухшие, лоснящиеся губы - они у него какие-то багровые. Мне кажется, это от жары и солнца у него быстрее идет заражение. Глаза от температуры маслянистые, в них беспокойный горячечный блеск.

-- Поведешь его роту,- говорит Бабин мне.

Маклецов пугается:

- Комбат! Я могу еще!..

И, пересилив себя, сел, опираясь руками. Белый, даже глаза посветлели от боли.

- Да лежи ты! - не выдерживаю я.

Он ложится без сил. Дышит часто, на висках выступил пот. Мы стараемся не глядеть на него.

Близко разрывается снаряд. Фырча, проносятся осколки. Стон. Придерживая туго набитую санитарную сумку, Рита бежит туда, мелькая пыльными голенищами сапог. Не добежав, останавливается: пехотинцы уже волокут убитого вниз, спиной по песку. Если так продлится, он выбьет нас по одному.

- Посади меня,- попросил Маклецов.

Я сажаю его спиной к откосу. Он смотрит на Днестр, смотрит на тот и

близкий и далекий берег, где ему уже никогда не быть.

- Не верил я, что меня убьют,- говорит он.

- Брось, Афанасий,- говорит Бабин.- Что ты, первый раз, что ли? Кто раньше, кто позже - это мы вот после боя поглядим, кому какой черед.

И я тоже говорю что-то в этом роде, стараясь не встречаться глазами.

Вернулась Рита. Фроликов ставит раскрытую банку консервов. В коричневой жиже крошки желтого жира и мясо крупными волокнами.

- Есть будешь? - спрашивает Бабин.

Я не хочу есть. Во время приступа малярии меня от одного вида мяса тошнит. Рита тоже не хочет есть. Бабин ест один. Достает мясо пальцами и жует без хлеба, прислушиваясь к выстрелам наверху. Виски то западают глубоко, то надуваются. А Рита смотрит на него. Как смотрит! Кто она ему? Жена? Мать? Вот такого, худого, желтого, вымученного лихорадкой, она любит его еще больше. Я не могу видеть, как она смотрит на него.

Отворачиваюсь и смотрю на Днестр. К берегу прибило труп немца. Ноги раскинуты на песке подошвами в нашу сторону, а сам в воде до пояса. Накатывается волна, подпирает его под затылок, под спину, и немец как будто силится сесть. Потом волна отходит, он падает навзничь, раскинув руки.

Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю Бабину:

- Она с нами не пойдет. Скажи ей, комбат, пусть здесь остается. В конце концов, здесь раненые.

Рита живо повернулась на песке в мою сторону, белая от злости:

- Тебе что надо? "Скажи ей, комбат..." Ты что лезешь?

Бабин поднял на нее нахмуренное лицо - ничего не сказал. Ну и черт с вами! Встаю и иду в роту Маклецова. По крайней мере, не видеть все это.

Рота - человек сорок пять,- сжавшись, ждет под песчаным обрывом. Потом приползают еще восемь: раненые. В окровавленных бинтах, многие без

гимнастерок. Один в разорванной тельняшке, прижав к животу забинтованную руку, раскачивается взад-вперед, словно ребенка укачивает. Рядом с ним пехотинец, вытянув длинные худые ноги в обмотках, щелкает затвором винтовки. Ближе ко мне - Саенко с автоматом на коленях, затылка за затылком сосредоточенно досасывает мокрый окурок и поглядывает на него, словно боясь не успеть. Их трое моих здесь: Панченко, Саенко и радист. Коханюка видели в первый день на берегу, нес перед собой забинтованную руку, как пропуск. С ней и вошел в лодку. А эти двое - Панченко и Саенко - сами переплыли ко мне с той стороны, как только узнали, что отсюда никого не выпускают. Опасность лучше всякой проверки сортирует людей. И сразу видно, кто - кто.

Над нами появляется корректировщик, двухфюзеляжный "фокке-вульф".

- Прекращай шевеление! - кричат по плацдарму.

Гасят сигарки. Мы жмемся под откосом. Выгоревшие гимнастерки сливаются с песком. И вправо и влево по всей кайме берега, перестав рыть, сжались в песке люди. Ждем. Трудней всего ждать. Сейчас он начнет. У меня сразу пересыхает во рту.

Корректировщик все кружится. То одним крылом, то другим блеснет в белесом небе. Вдруг словно подземный толчок почувствовали мы. И сейчас же, заглушая хлопки выстрелов, в воздухе приближающийся вой и шипение. В последний раз оглядываюсь на берег, на котором лежу, и таким спасительным, надежным показался он мне в этот момент... В следующий момент мы уже вскакиваем.

- Вперед!

Яростные лица. Разинутые рты. Рушатся первые разрывы. Дым. Пыль. Мельком вижу на обрыве слева овчарку. Крутится, заглядывает вниз. С автоматом на шее прыгаю на откос. Хватаюсь за корни. Лезу, лезу, держась за них. Корни обрываются. Падаю спиной вниз. Внизу Саенко бьет кого-то в дыму сапогами. Тот сжался на песке, не встает, только закрывает руками голову. Саенко срывает с плеча автомат. Дальнейшего я не вижу. Лезу на обвалившийся



откос. Впереди карабкается пехотинец в обмотках. Один за другим возникают над краем откоса солдаты. И сейчас же исчезают за ним, согнувшись, с автоматами в руках. Взрыв! Сверху падает пехотинец в обмотках. Переворачивается через спину, чуть не сбивает меня. Винтовка его, воткнувшись штыком в песок, раскачивается упруго. И еще один пехотинец. Уже наверху. Вцепился побелевшей рукой в траву, лежит ничком. Я выскакиваю на откос.

Ви-и-и-у!..

Падаю. Нечем становится дышать. Чувствую его спиной, лопатками... Вот он! Закрываю ладонями голову.

Гах!..

Мимо! Вскикиваю.

- Вперед!

Из двух пехотинцев, лежавших рядом, встает один. Бежит шатаясь. Лежей мелькнули за дымом Бабин и Рита. Не бегут, идут. За ними ползет собака, оставляя широкий кровавый след. Где Саенко? Панченко? Никого не вижу. Врываемся в лес. И вдруг - та-та-та-та-та!

Стою за деревом боком, вытянувшись. Пули низко стучатся о стволы. Оглядываюсь осторожно. Повсюду за деревьями, за кустами лежат пехотинцы. Мы вырвались из-под снарядов. Только не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осекся.

- За мной-ой!

Какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня, размахивает яростно автоматом, держа его за ствол, как дубину. Слева ударил пулемет и смолк внезапно. За деревьями мелькают немцы. Они бегут навстречу нам. Солдат исчезает. Из-за него выскакивает немец. Засученные рукава. Ощеренное, как будто улыбающееся, лицо. Стреляю. Саенко обгоняет меня. Еще чья-то широкая спина в тельняшке. В голой, с перевязанным локтем, загорелой руке - немецкий автомат. Лес кончился. Впереди меня, согнувшись, бежит

немец. Никак не могу его догнать. Бегу, стреляю по нему и что-то кричу. Автомат дрожит в руках, как живой. Потом перестает дрожать, а я все жму на спусковой крючок. Внезапно немец оборачивается. Помертвевшее маленькое лицо. Подымает автомат. Страшно медленно. А я не могу остановиться, бегу на него, и все это как во сне, и ноги сразу становятся слабыми. Задохнувшись, вижу вспышку перед глазами, успеваю упасть. Когда подымаю голову, Саенко что-то делает с немцем, придерживая кубанку рукой.

- Натя!

Кидает мне запасной магазин к автомату. Сзади накатывается: "А-а-рра-рра!.." Разгоряченные лица, кричащие рты - все поле в бегущих людях. Ботинки, обмотки - пехота, набежав, обгоняет нас. Стоя на колене, перезаряжаю автомат. Потом бегу за ними и тоже что-то кричу, и оттого, что кричу, легче бежать. Окопы наши - позади. Чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают, удаляясь. Под ногами каменистая осыпающаяся земля. Галька. Бежать становится тяжело. "Это высоты. И вдруг - пусто. И я тоже лежу на земле. И только: та-та-та-та-та-та!.."

И ветерок над спинами. И пули: чив! чив! цвик! Это бьет сверху. Из немецких окопов. Лбом, грудью вжимаюсь в землю. Нет ни укрытия, ни воронки - весь на виду.

Ж-ж-ж! - как жук, рикошетит надо мной расплющенная пуля. Рядом хрипит кто-то и стонет. Приоткрываю глаз. Нога в ботинке дергается впереди меня, скребет подковкой каменистую землю.

Я упал на правую руку. Пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе. Надо кидать из-за спины, лежа. Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной проходит пулеметная очередь, сжимаюсь сильнее. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскользывает. Несколько мин беспорядочно разрывается по склону. Сейчас немцы придут в себя. И вдруг -

крик. Дикий, страшный:

- Танки!

Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает.

Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там - танки. И пулемет сверху.

Это - истребление.

- Лежать! - хриплю я в землю.

Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очередь! Я успеваю сорвать с пояса гранату.

Взрыв! Это кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальке

бежим вверх. Из дыма на меня - чье-то искаженное лицо. Ударяю гранатой.

Глаза над бруствером. Огромный хрипящий Саенко валится на них. Прыгаю в траншею. Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки. Молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом.

- Давайте скорей!

Солдат подымает лицо - Панченко! Оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншее. И только устанавливаем на другую сторону - немцы! Лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, вода ими перед животом, падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки - мечущиеся фигурки немцев. Бегут. Пропадают. Бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия.

- Ленту! - кричу я.

Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под кубанки на ухо по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем: опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду.

Разрыв!

Вжимаю голову в плечи.

Разрыв! Разрыв!

Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по

траншее за спиной у меня, матерится, кричит:

- Гранаты!..

Надо снять пулемет. Свист. Вой. Грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец! И не могу оторваться от пулемета.

В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики, ИЛ-2, и немцы катятся вниз по склону.

Потом я сижу без сил на дне траншеи на пулеметных, гильзах. Несколько бойцов сидят рядом. Дышат. Лица мокрые от пота. Правей ложатся разрывы. А где же танки?

Сверху сваливается Панченко. Почему-то босой. Хрипит пересохшим горлом:

- Пить!

На черном лице одни глаза. Кто-то дает фляжку. Пьет, задыхаясь, с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли. Сквозь пыль сочится ссадина. Над головой у нас гудение самолетов и пулеметные очереди: др-р-р! др-р-р! Глухо за толщей воздуха. Почему Панченко босой? Я смотрю на него и что-то ничего не могу сообразить. Перед глазами туман. У меня, кажется, жар. Это малярия. И слышу плохо.

- Где танки?

Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Панченко отрывается от фляжки. Блестят мокрые зубы.

- Вот они, танки!

И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, подымается густой черный дым. Панченко смеется и опять пьет. Мне тоже хочется пить. Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая.

По траншее быстро идет Брыль.

- Собрать оружие, патроны, гранаты! Сейчас опять ползут!

Мы подымаемся. Глядя на него, я вдруг вспомнил о Бабине. Впервые за весь бой. Беру его за портупею:

- Бабин где?

- Там! - Он кивает головой назад вдоль траншеи и торопится пройти, но я удерживаю его за портупею.

Я хочу спросить о Рите и боюсь. Поняв, Брыль, говорит:

- Все там. Живы.

И, разжав мою руку, уходит быстро. Уже издали, за поворотом траншеи, опять слышен его голос:

-- Собрать оружие, гранаты, сейчас снова ползет!.. Отчего-то во рту у меня вкус крови. Плюю на ладонь - кровь.

### **ГЛАВА XIII**

Ночь проходит тревожно. С вечера мы отбиваем еще две атаки. У немцев, не переставая, работают пулеметы, рассеивая над черной землей огненные трассы пуль. Они с шипением врезаются в бруствер. Из низины, затопленной туманом, часто бьет скорострельная пушка, прозванная "Геббельсом": ду-ду-ду-ду-ду!..- и оттуда вылетают вверх прерывистые струи огненного металла. По временам ржаво скрипит шестиствольный миномет, у нас все дрожит и трясется от взрывов, и земля осыпается.

Небо низкое. Тучи глухо обложили его. Южнее нас и на севере, где был плацдарм,- а может, уцелел он? - облака безмолвно вздрагивают: это отсветы боя на земле. Там давно уже слышен небывалой силы артиллерийский гром, и воздух, дрожа, неприятно действует на уши.

Всю ночь к нам прибывает пехота с того берега. Люди идут сюда по выжженной земле, на которой еще остались неубранные трупы и чернеют остовы сгоревших танков; попав теперь в наши окопы, где не выветрился дух немцев, они говорят отчего-то вполголоса.

Усталость валит солдат с ног. Засыпают с открытыми глазами, посреди разговора, с недокуренной сигаркой в руке. У пулемета спит пулеметчик,

ткнувшись лицом в бруствер, не разжимая рук. Приехала кухня, но даже запах еды не будит людей. Сильней всего сейчас сон.

В полночь, отправив Панченко на тот берег за связью, я оставляю за себя пехотного лейтенанта и спускаюсь в блиндаж. Воздух спертый. Надышано и накурено так, что немецкая свеча в плошке, задыхаясь, едва мерцает сквозь дым. Спят от порога. В проходе, на нарах - вповалку. Табачный дым ест глаза. А может быть, это от усталости? Колеблюсь минуту, потом втискиваюсь между двумя храпящими телами и засыпаю, будто проваливаюсь в темную воду. Последнее, что слышу,- немецкий пулемет. Где-то близко.

Будит нас громкий крик:

- Подъе-ом! Немцев проспали!

Подымаю тяжелую, мутную со сна голову. Все тело болит, как избитое. В глазах от многих бессонных ночей будто песок насыпан. Кругом меня шевелятся в соломе солдаты, взлохмаченные, у многих подняты воротники шинелей, голоса хриплые спросонья; ругаются, кашляют, сворачивают курить. Кто-то опять укладывается спать.

- Подъем!

Парень в дверях, подняв автомат вверх, дает очередь. Снаружи тоже слышна суматошная стрельба и крики. Выскакиваю из блиндажа. Наверху творится странное что-то. Солдаты открыто ходят по высоте, палят вверх из автоматов, бухают из винтовок, словно война кончилась.

- Немцы где?

- Проспали немцев!

Оказывается, лазала разведка и никого не обнаружила. Всю ночь пулеметчики прикрывали отход немцев, а когда туда полезли перед утром, и пулеметчики смылись.

С пехотной разведкой лазал Саенко по доброй воле, вернулся обвешанный трофеями, приволок откуда-то ящик яиц. Мы пьем их сырыми. Разбиваем с одного конца и пьем, запрокинув голову. Где же все-таки немцы? Никто ничего толком

не знает. Нет немцев - и все. Саенко достает из обоих карманов вязкие парашютики от немецких осветительных ракет - у нас они идут вместо носовых платков - и раздает всем желающим, стоя в шикарной позе. Лицо его самодовольно лоснится.

- Вы бы поглядели, товарищ лейтенант, какая там огневая позиция стопяти. Я ее сразу узнал. Наша цель номер шесть.

И подмигивает мне узким глазом:

- Все не верят нам. Разделали как бог черепаху. Пойдете глядеть?

- Стой! - говорю я.- Остались еще яйца?

- Есть.

- Грузи на плечи - и шагом марш в гости!

И мы идем к Бабину. По дороге снимаю грязный бинт с головы и чувствую облегчение оттого, что ветерком обдувает подсыхающую ссадину.

Бабин стоит на насыпи своего блиндажа, расставив ноги в сапогах, голый по пояс, а Фроликов с полотенцем на плече льет ему на спину из котелка. Комбат, задыхаясь под холодной струей, изгибается, шлепает себя ладонями по мокрой груди: "Ух! Ух!" - испуганными глазами показывает себе на спину между лопаток, и Фроликов льет туда. "Ах хорошо!"

- Комбат! - кричу я еще издали.- У тебя кто-нибудь яичницу жарить умеет?

- А война?

Вода потоками заливает ему лицо, он жмурится от мыла.

- Обождет война, давай яичницу есть!

Фроликов, целя струей из котелка комбату на затылок, улыбается. И часовой у входа в блиндаж улыбается и чешет мясистую, в мозолях, ладонь об острие штыка.

Над нами, заглушив голоса, низко проходят наши бомбардировщики. Идут спокойно, куда-то далеко. Бабин, не разгибаясь, чтобы вода по желобку спины не затекла в брюки, что-то кричит и весело указывает на самолеты снизу. С

мокрого локтя бежит струйка воды. Я с удовольствием и даже с завистью смотрю на его мускулистое тело. Он пожелтел от акрихина, малярия подсушила его, а видно, силен был очень. Под правой лопаткой у Бабина старый, затянувшийся коричневой кожей широкий шрам. На плече круглая вмятина толщиной в палец - след пули. Когда он подымает руку - вмятина становится глубже. Весь послужной список на теле, стоит только рубашку снять.

Фроликов, сорвав с плеча, кладет ему на руки чистое полотенце. Бабин трясет мокрыми черными волосами и разом зажимает полотенцем лицо.

- Ты вообще понимаешь что-нибудь во всем этом? - говорю я, когда гул самолетов отдаляется и снова становится возможно говорить.

Бабин растирает суровым полотенцем выпуклую, без волос грудь, смеется. Галифе, пыльные сапоги в брызгах воды, она сверкает на солнце.

- Передавали,- он кивнул под поги себе, на насыпь землянки, где был телефон,- два фронта наступают: наш и Второй Украинский. С двух плацдармов рванули. Танки Второго Украинского, говорят, в Румынии уже. Немцы их догоняют. Вот как война двинулась на запад: впереди наши танки путь указывают, сзади немцы, сзади немцев - мы. Вчера бы нам это сказали, а?

Да, если бы вчера нам это сказали... На войне никогда не знаешь дальше того, что видишь.

Откуда-то возникает звук летящего снаряда. Он долго воеет, приближаясь, и разрывается у подножия высоты.

- Понял, где немцы? - говорит Бабин.- Даже выстрела не слышно.

Голый по пояс, он берет у Фроликова бинокль с болтающимся ремешком, и мы оба смотрим в ту сторону. Солнце, желтая от зноя степь, и по краю степи, за деревьями, медленно движется сильно растянувшаяся колонна маленьких - отсюда - грузовиков.

- Тебе связь еще не подтянули? - спрашивает Бабин быстро.

- Какая теперь связь! Наши, наверное, уже с огневых снимаются.

- Жаль. А то бы дать по ним разок, чтоб не ездили!



Из блиндажа выскакивает Рита. Подтянув юбку над коленями, раскрасневшаяся, с оживленно блестящими черными глазами, вылезает из траншеи, кидает Бабину чистую рубашку:

- На, надевай! А бриться?

Бабин проводит рукой по щекам - спорить трудно.

- Господи, что бы вы, мужчины, без нас делали?

- Определенно пришли бы в упадок.

-- И запустение,- добавляю я.

Рита сочувственно качает головой:

- Остричь пытаетесь... Вам только это и остается. И строго Бабину:

- Сейчас же снимай с себя все и надевай чистое. Стирать буду.

- Понимаешь,- говорит Бабин,- у нас тут идея возникла: позавтракать раньше всех дел. Его, например,- он указывает на меня,- могут в любой момент забрать у нас и кинуть поддерживать другой полк.

- Меня ваша мощная идея не трогает. Я хочу стирать. Хочу голову мыть в Днестре. Хочу тебе обед готовить. Посмотри на себя: от тебя половина осталась. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ. Со старым толченым салом для запаха. Учти, Фроликов, нужно старое хлебное сало. Я тебя быстро откормлю. И пусть он тоже приходит борщ есть.

- А кто нам пока что яичницу зажарит?

- Фроликов. Родина призвала его на эту должность - пусть жарит.

- Ладно,- говорю я,- завтракать все равно придем. У нас еще одно дело есть.

И мы уходим с Саенко смотреть свою работу: бывшую нашу цель номер шесть. Когда ведешь огонь по батареям, стоящим на закрытых позициях, редко видишь результаты своей стрельбы. О них догадываешься. Прекратила батарея стрельбу - подавил. Видишь, как там что-то рвется,- уничтожил. И часто эта "уничтоженная" батарея после ведет по тебе огонь, Тогда говорят, что она ожила. Моя батарея за войну тоже много раз "оживала".

Мечта каждого артиллериста - близко поглядеть результаты своей стрельбы. Но даже в наступлении это не всегда удается: идешь где-то стороной и видишь чужую работу. Я с удовольствием хожу по брошенным орудийным окопам, считаю воронки. Наши, их не спутаешь. Несколько прямых попаданий в окоп. Во мне подымается профессиональная гордость. Все разбито, брошены зарядные ящики, но пушки увезены.

- В металлолом повезли,- говорит Саенко. Я не спорю. Куда бы ни повезли, раз такое наступление - недалеко они уедут.

Отправив Саенко встретить связистов, я иду на левый фланг. Кто-то говорил, что там действовали штрафники. Но штрафников уже нет, и никто ничего не знает о Никольском.

Я возвращаюсь по тем местам, где была наша оборона, и мне несколько раз попадаются похоронные команды. Все здесь такое памятное и уже чем-то чужое, опустевшее без нее. Окопы, брошенные землянки, в которых живут теперь воспоминания. Я нахожу свой первый НП - щель в дороге. Около него в закаменевшей земле мелкая воронка от мины и ничком лежит убитый немец, серый, как земля под ним. Сколько дней просидели мы здесь?

Недалеко от щели - разбитая осколком, обгоревшая и уже ржавая винтовка. Это здесь убило миной двух пехотинцев, утром, когда мы с Васиным собирались завтракать. А вот так я полз. Шестьдесят метров. И оттуда бил пулемет. Разве расскажешь когда-нибудь тем, кто не был здесь, что значило проползти шестьдесят метров.

Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни?

Мимо меня, подскакивая на кочках, мчится пехотная кухня. Чубатый повар в колпаке держит в вытянутых руках вожжи. На высотах встает разрыв. Ни

черта, правит прямо на разрыв, нахлестывая коней. Вот такая война пошла!

Еще издали Фроликов замечает меня.

- Идите скорей, товарищ лейтенант! - кричит он.

На двух камнях стоит у него огромная сковорода, и в ней пузырями вздувается великолепная яичница с салом, с зеленым луком. Фроликов жарит ее, используя подручные средства: распорол немецкий заряд и кидает в огонь длинную, как макароны, взрывчатку. Она горит химическим желтым пламенем, жирная копоть хлопьями садится на яичницу, он выковыривает ее ножом.

- Лень тебе хворосту набрать?

- Лень! - И смеется.

Рита коленом решительно уминает на земле узел с бельем, связывает его рукавами гимнастерки. Бабин в ослепительно белой рубашке кончает бриться перед зеркальцем. Оттянув кожу на похудевшей шее, водит бритвой по ней, подмигнул мне в зеркало: "Видал, что делается?"

- Садись, быстро брейся,- говорит он.- Артиллерист должен быть всегда выбрит и слегка пьян.

Рита подняла красное лицо с упавшими волосами, черные глаза оживленно блестят. На верхней губе капельки пота.

- А ему нечего брить.

- А мне нечего брить.

- Не слушай ее. Она, видишь, настроена яростно. Какую-то стирку выдумала...

- Не слушай меня. У тебя шикарные усы. Я даже могу их поцеловать.

И вдруг в самом деле целует меня. В губы. Влажными горячими губами.

Сумасшедшая девка. Ну что требовать, когда сумасшедшая!

- Я бегу за водкой,- говорю я, чувствуя, что краснею.

- Он мужчина, он не может без водки! - И Рита хохочет.

Я бегу в свой окоп и слышу, как она хохочет. Потом слышу далеко возникший звук снаряда. Спрыгиваю. Хохот обрывается раньше. Потом разрыв. Я

выскакиваю с фляжкой. И тут дикий, какой-то животный крик Риты. И вместе с этим криком во мне все обрывается. Помертвев, чувствуя только, что уже ничего изменить нельзя, бегу туда. Рита стоит на коленях. Когда я подбегаю ближе, она падает на что-то. Я хватаю ее за плечи, тяну к себе:

-- Рита!

Она вырывается, а я тяну:

- Куда тебя? Рита!..

И вдруг я вижу ее глаза. Безумные, не видящие ничего. Но она жива.

Жива!

Я сажусь, обессиленный. У меня дрожат губы. От испуга за нее со мной что-то случилось. Не могу встать. Рукой не могу пошевелить. Отнялись ноги. Я все вижу и ничего не соображаю. Чья-то широкая в кисти, страшно знакомая рука лежит на земле. И тут слышу Ритин захлебывающийся голос:

- Где? Где? Алеша, родной, куда?

Я почему-то забыл о Бабине и теперь понял, что ранен он. Сжав губы, отстраняя Риту рукой, он силился подняться с земли с напряженным, нахмуренным лицом, вслушиваясь во что-то, слышное ему одному. Потом что-то сломалось в нем, кровь потекла у него из угла рта, а он, захлебываясь, пытался улыбнуться крупными синеющими губами, словно стесняясь, что напугал нас. И это было несовместимо и страшно. Взгляд его наткнулся на меня, мне показалось, он меня зовет.

После я понял, зачем он звал меня. Он умирал, чувствовал это и, беспомощный, глазами просил меня помочь Рите в этот первый, самый страшный для нее момент. Это ее пытался он ободрить вымученной улыбкой. Но со мной что-то случилось от пережитого испуга. Счастливо начатый день, то, что мы должны были сейчас завтракать, внезапный снаряд и все это сразу происшедшее, во что я еще не мог поверить, перемешалось в моей голове, и я только тупо стоял с фляжкой.

А уже бежали сюда люди, тесно обступали нас...

На всю жизнь запомнился мне последний, заставивший всего меня вздрогнуть, жуткий в своем одиночестве среди людей крик Риты:

-- Алеша!..

Мы хоронили Бабина жарким августовским полднем в лесу. В невеселой песчаной земле, обрубив лопатой корни, вырыли ему могилу. Лес теперь был редкий, и солнце жгло в нем, как в поле, а уцелевшие деревья, все сплошь израненные осколками, были в горячих потоках смолы.

И сильно пахло потревоженной сырой землей и свежим деревом.

Без пилоток мы тесно стоим, окружив могилу, а двое солдат с лопатами что-то еще подрывают в ней, торопясь, чувствуя на себе взгляды всех. Бабин лежит на свежей насыпи, завернутый в плащ-палатку, черноволосый, неестественно желтый, с запекшейся на синих губах кровью; на левой щеке его ниже уха клочок недобритых волос. Я стараюсь не смотреть на него. Кто-то шепотом говорит, что орден Красной Звезды тоже надо было снять и сдать в штаб. И все почему-то говорят шепотом, стесняясь своих голосов. Рядом со мной Брыль тихо рассказывает кому-то, как он пришел в батальон и, ничего не думая тогда, пообещал пережить Бабина. И вот получилось, пережил...

Солдаты выпрыгивают из могилы, подобрав лопаты, скрываются за спины стоящих. И сейчас же на насыпь поднялся Караев. Голос его в тишине показался мне резким:

- Товарищи бойцы и командиры! Сегодня мы хороним...

Я вздрогнул и оглянулся, ища глазами Риту. Ее не было. Я почувствовал облегчение.

Сегодня утром Фроликов поливал ему на спину, и Бабин просил еще, и ухал под холодной водой, и шлепал себя ладонями, веселый, мокрый, живой, а я с завистью смотрел на его мускулистое тело и считал рубцы... Вот так кончится война и кто-то еще погибнет от последнего шального снаряда, и с этим разум не примирится никогда.

Незнакомый майор, проталкиваясь в первый ряд, задерживая дыхание, толкнул меня. Я посмотрел на него и случайно увидел над ним на дереве серую, вздувшуюся от дождей пузырями фанерную дощечку и почти смытую надпись на ней. С трудом различая буквы, я прочел: "Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня!"

В стертом артиллерийским огнем лесу эта довоенная надпись внезапно поразила меня. Неужели все, что произошло и пылает уже четвертый год, возникло от крошечного огонька, который вначале не затоптали, а потом уже невозможно было погасить?

Караева сменяет на насыпи майор, который проталкивался в первый ряд. Мне уже беспокойно становится, что Риты до сих пор нет. Я осторожно выбираюсь из толпы и иду искать ее. Несколько солдат, торопящихся туда, попадают мне навстречу. Один бежит со смущенной и счастливой улыбкой человека, который боялся опоздать, но в последний момент увидел, что успеет.

Я долго ищу Риту и, когда уже начал не на шутку тревожиться, вдруг увидел ее. Она сидела на поваленном дереве. Не решаясь подойти сразу, я смотрел на ее спину, на косо залоснившийся след портупеи от плеча к ремню. Потом сел рядом виновато.

Надо было что-то сказать ей. Но что сказать сейчас, когда нет таких слов? Она смотрела перед собой пустыми, погасшими глазами. Щеки ее горели, на них следы высохших слез. Я вдруг понял, почему она не пошла туда. Она была Бабину женой и другом, самым близким человеком, прошедшим с ним через все. Но там, на могиле, среди незнакомых офицеров, и сама она, и ее слезы выглядели бы иначе. А может быть, она и не думала об этом.

- Рита,- позвал я осторожно.

Она не обернулась, быть может, не слышала, продолжая все так же смотреть перед собой. Я подождал и опять позвал ее:

- Рита.

Тогда она живо повернула голову, и в первый раз глаза ее блеснули. Они блеснули на меня открытой ненавистью. Я ни в чем не был виноват перед ней. Если б я мог сейчас умереть вместо Бабина, я бы сделал это. Но это не зависело от меня.

Позади нас раздался недружный залп. Я видел, как спина Риты вздрогнула. Она поднялась и быстро пошла отсюда, торопясь уйти дальше, но второй залп догнал ее и толкнул в спину.

Я еще долго сидел один на поваленном дереве. Только теперь, когда Рита ушла, я понял, что весь этот горький день во мне жила смутная надежда. Я почувствовал ее, когда потерял.

Ночью снимается с позиций и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе и так за нее больно!

Всю ночь над высотами, все так же впереди нас, ярко горит желтая звезда, и я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут. Сириус, Орион... Для меня это все чужие имена, я не хочу их знать.

#### **ГЛАВА XIV**

Мы лежим у дороги, босиком, на пыльной траве: Саенко, Васин, Панченко и я. Саенко разбросал толстые ноги с мясистыми ступнями, по ним ползают мухи, лицо накрыл от солнца черной кубанкой и спит. Панченко тоже спит на боку, головой на вещмешке с продуктами, охраняя их даже во сне, а от кого - неизвестно.словно едет в вагоне поезда, где по военному времени всякое может случиться. Он и воюет как будто между дел, а главным образом - добывает продукты, готовит, кормит. Хозяйственные дела одолевают его даже во сне, лицо у него озабоченное, а на ремне вместо гранат - три фляжки.

Мы одновременно смотрим на него: Васин и я. Уравновешенный, знающий себе цену, как всякий мастеровой человек, Васин относится к Панченко со

сдержанным юмором. Мы встречаемся глазами, и Васин улыбается. Я впервые замечаю, что глаза у него на солнце рыжие. А вообще красивый парень. Смуглый, волосы с рыжинкой, а брови черные, как нарисованные углем. И шея крутая, гордая. Сидит, поджав под себя босые ноги, что-то выстрегивает из палки, опустив длинные, рыжие на концах ресницы. Он хотя и мал ростом, но на иного высокого глянет, будто сверху вниз.

А ведь скоро мы все расстанемся. Ленивый, гладкий, богатырски спокойный Саенко утруждать себя, изнурять работой не привык. Ему легче к немцам в разведку слазать, чем вырыть окоп. За этого я не беспокоюсь, жизнь у него будет как августовский разморенный от зноя полдень, когда в тени и то шевельнуть рукой лень. Бабы его любят, у него к ним тоже характер мягкий, и жененка - попадетса она ему, наверное, худая, сердитая: таких, кто много перебрал, под конец самого приберет к рукам какая-нибудь невзрачненькая - будет денно и ночью не прощать ему, что прежде за другими ее не замечал, и точить его, и точить, и ворочать за него в хозяйстве. Но Саенко "такий козак", что растолкать его трудно. Между прочим, из всех моих разведчиков он один ни разу не ранен, хотя на фронте с начала войны.

Лучше всех я представляю себе жизнь Панченко. Этот - трудяга. Вернется к себе в колхоз и будет работать, честный, упорный до невозможности. А черен несколько лет уже и многодетный. Таким трудягам почему-то нелегко в жизни. И живут они не очень богато.

Мне даже грустно становится, что придет час, когда все мы разъедемся. И не будет уже того, что связывало нас и каждого из нас делало лучше, чем он сам по себе в отдельности. Э, да о чем я! До конца еще надо дожить.

Я ложусь на спину, чувствуя щекой нагретый ворс шипели, с удовольствием шевелю на солнце пальцами босых ног. Солнце стоит в зените, небо синее, безоблачное, хорошо видны сияющие дали, и только по самому горизонту тают тонкие встающие дымы. Там далекое, непрекращающееся гудение, тяжелая артиллерия глухо кладет разрывы: гук! гук! Вот уже куда отодвинулся бой.



Над нами гудит наш самолет, очень высоко, то взблескивая на солнце серебряной мухой, то исчезая в синеве, и тогда только по звуку можно за ним следить. Одним глазом из-под пилотки я наблюдаю за ним. И впервые завидую летчикам. Хорошо, должно быть, купаться вот так в синем солнечном небе, то взмывая вверх, то переворачиваясь через крыло. Я засыпаю под гул самолета, не прячась от бомб, только накрыв лицо пилоткой от солнца.

Когда просыпаюсь, Панченко уже нет рядом, Васин сидя натягивает сапоги. Поблизости от нас у дороги расположилось семейство молдаван. Согнанные войной с родных мест, они теперь возвращаются от немцев и сели отдыхать; рядом с нами им, видимо, спокойней. Оказывается, только что проехал командир бригады и сейчас по дороге движется мимо нас штаб. Я замечаю среди других Мезенцева на рыжем высоком коне. Он тоже видит нас и хочет проехать незаметно, но в последний момент, заторопившись, вдруг подъехал:

- Здравствуйте, товарищ лейтенант.

У Саенко, который спал, накрыв лицо кубанкой, заблестел один глаз.

Под Мезенцевым лоснящийся от сытости конь. Я босиком сижу у дороги в пыльной траве. Солнце сверкает на глянцевом крыле седла; мне кажется, я на расстоянии ощущаю запах нагретой солнцем новой кожи и конского пота. А за спиной Мезенцева в защитном чехле - труба. Она раз в десять легче рации, которую он прежде таскал на спине.

- Трубишь?

Он пожал покатыми плечами:

- Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу. Я не напрашивался. Знаете, товарищ лейтенант,- говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам,- кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с винтовкой, знаю. А вообще вы не думайте, что в бригаде легко. Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе, по крайней мере, свободней было.

Да, вот так и скажет после войны: я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет и в нос ткнет.

Я смотрю на него снизу. Он во всем новом, еще не стиранном, не потерявшем цвета. И ремень на нем новый, светлой кожи. И маленькая кожаная кобура на боку. На коне, в подогнанном обмундировании Мезенцев уже не выглядит таким сутулым и тощим. Только шея все такая же длинная, с торчащим кадыком, словно выгнутая вперед. А старика Шумилина нет в живых...

Я чувствую, Мезенцеву беспокойно среди нас. Конь под ним вертится, он удерживает его, но почему-то не отъезжает. С каким легким сердцем вздохнул бы он, если б узнал, что и нас тоже нет на свете. Наверное, в прошлой его жизни немало есть людей, с кем бы он не хотел встретиться. Впрочем, он уже почти оторвался от нас. Главное - и в будущем успевать вовремя отрываться, чтобы нежеланные свидетели оставались позади и ниже.

К Мезенцеву подъезжают конные. Передний, раскормленный и крепкий, с сильными ногами в стремях и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полной груди, вытирает платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. В потной руке - поводья. Этот тоже из ансамбля, плясун, кажется. Я уже давно заметил, что у таких вот нестроевиков и выправка и вид самые строевые, и обмундирование сидит на них как влитое. Взять его, затянутого в ремни, украшенного медалью, и моего Панченко в засаленных брюках, в стиранной-перестиранной, белой от солнца гимнастерке, в пилотке, за отпоротом которой вколоты иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам - скажут девки, что Панченко где-нибудь всю войну отирался при кухне, а вот этот и есть самый настоящий фронтовик.

- Корешков встретил? - сиплым от жары голосом спрашивает он у Мезенцева, покровительственно кивнув нам с высоты седла.

И все трое смотрят на виноград, который принес Панченко в плащ-палатке и раскладывает.

- Друг, а ну подай кисточку! - нетерпеливо ерзая штанами по гладкой коже седла, кричит он сверху.

Панченко продолжает нарезать хлеб, стоя коленями на плащ-палатке. Он как будто не слышит.

- Слышь, солдат!

С земли встает Саенко, надев кубанку на встрепанные волосы, распоясанный идет к нему, оставляя в пыли дороги широченные босые следы. Подойдя, хлопывает лошадь ладонью, словно любит. Хлопает по заду, подкованные копыта переступают около его босых ног, вдавливаясь шипами.

- От конь, так то правда конь-огонь! На таком коне еще бы шапку да шапку добрую...

И делает что-то неуловимое. Взвившись, конь диким галопом, боком несет вояку по дороге. Еле удерживаясь в седле, тот издали грозит и кричит что-то. Саенко хохочет, стоя посреди дороги босой.

- Эй, лови! - кричит он и, взяв с плащ-палатки, кидает кисть винограда.

Музыкант ловит ее на лету, но все же обижен. А Саенко, великодушный, как победитель, спрашивает третьего музыканта, самого скромного на вид:

- Представлять когда будете?

Тот смущенно пожимает плечами: мол, от нас не зависит, наше дело такое - как прикажут. Саенко и ему дает виноград.

Один только Панченко за все это время даже не повернул головы, словно и не было ничего: он резал хлеб. Характер у него железный.

Больше мы не говорим о них. Лежа на животах вокруг плащ-палатки, голова к голове, едим виноград. Я лежу чуть боком, чтоб удобней было раненой ноге. Скоро рана нагноится, тогда бинты будут отставать легко, без боли.

Мимо нас по дороге в мягкой густой пыли проносятся машины. Ветер сбивает пыль на ту сторону, и трава там вся пепельная. Только мы не спешим: наши пушки утром переправились через Днестр и еще не подтянулись. Все это, стремительно и весело мчащееся к фронту, на рассвете завтрашнего дня, когда мы вступим в бой, будет позади, а мы - впереди. И мы не спешим. Все-таки я надеваю сапоги, разведчики тоже обуваются: дорога уже не безлюдна, и лежать

так - неловко.

Мы едим черный виноград, каждая ягода словно дымком подернута, а сок теплый от солнца. Подносишь ко рту тяжелую гроздь и на весу объедаешь губами. Сок винограда, пшеничный хлеб, солнце над головой, сухой степной ветер - хорошая штука жизнь!

Позади нас останавливается машина, резкий сипловатый сигнал. Оборачиваемся. Комдив Яценко вылезает из кабины полуторки с брезентовым верхом, голенища его сапог сверкают сквозь пыль. В кузове машины Покатило - он улыбается, поглаживая двумя пальцами усики под носом, кивает дружески - и начальник разведки дивизиона Коршунов в накинутой на спину от ветра шипели с поднятым воротником. С ними несколько разведчиков.

Оправляя гимнастерку под ремнем, подхожу к командиру дивизиона. Он стоит у подножки, тонким прутиком похлестывает себя по голенищу. Подбритые брови строго сдвинуты, тонкие сомкнутые губы, смелый взгляд. На нем его парадный суконный костюм, лаковый козырек фуражки бросает на лоб короткую тень.

- Загораете?

Левой рукой застегиваю пуговицы у горла.

- Чего ж ты говорил, что днем на плацдарме головы не поднять? Не поднять, а мы в машине едем!

И Яценко хохочет громогласно и оглядывается за одобрением наверх, в кузов. Стою перед ним по стойке "смирно". За спиной моей шепотом ругаются два ординарца - мой и его, прибежавший с двумя котелками.

- Лень тебе самому набрать? Вон его сколько на виноградниках. Привык, на чужом горбу в рай ехать.

- Ладно, ладно,- урезонивает Панченко вышестоящий ординарец.- Вы тут загораете, а мы вон едем новый НП выбирать. Сходишь еще, не разломишься. Меня вон машина ждет.

Яценко ставит сапог на подножку, расстегивает планшетку на колене. Под

целлулоидом - карта. Правая половина, с Днестром, затерта до желтизны, вся в условных значках и пометках. Левая, западная,- новенькая, сочные краски, на нее приятно смотреть.

- Там Кондратюк подтягивается.- Строгий взгляд в мою сторону: мол, смотри, случится что - не с него, с тебя спрос.

- Кондратюк справится,- говорю я.

- Так вот. Высоту сто тридцать семь видишь? - Он показывает на карте.- В ноль часов тридцать минут вот в этой балке за высотой сосредоточишь батарею. Задача ясна? Дальнейшие приказания получишь от меня там!

- Слушаюсь!

Покатило из кузова показывает рукой за кабину, машет туда: мол, там встретимся. Я чувствую к нему душевную близость. Ординарец Яценко, пробежав, лезет через борт с двумя котелками, полными винограда. Вдруг я замечаю у колеса машины незнакомого, скромно стоящего лейтенанта. В первый момент, когда я глянул на него,- это было как испуг, мне показалось - Никольский! Словно возникло что-то в стеклах бинокля, отодвинулось, затуманилось, как при смещенном фокусе, и на том же месте близко и резко увидел я совершенно другого человека.

- Товарищ капитан,- спросил я, полностью овладев голосом,- левой нас штрафники действовали. Не слышали, как у них? Где они сейчас?

- Штрафники? - Яценко щелкнул кнопкой планшетки, откинул ее за спину, снял с подножки сапог.- Слыхал, потрянули их немцы,- сказал он, блеснув глазами.- Так что многие искупили. А тебе, собственно, штрафники зачем? - И щурится на меня испытующе, знает еще что-то, но не говорит, ждет.- О дружке беспокоишься? Который спать здоров? Ладно уж, открою секрет, хотя и не положено. Не успел он попасть в штрафбат, легким испугом отделался. Победа! Все добрые! Небось уже своих догоняет. Егоров!

Младший лейтенант подошел, козырнув.

- Вот тебе новый командир взвода в батарею. Вчера прислан. Одно с тобой

училище окончил.

Почему-то младший лейтенант смущается от этого сопоставления и опять козыряет.

- Так все ясно? - уже из кабины, выставив локоть, кричит Яценко.

От заведенного мотора крылья полуторки трясутся.

- Действуй!

И машина тронулась рывком. Покатило и Коршунов стукнулись спинами о кабину и тут же скрылись в пыли, поднятой над дорогой множеством колес.

- Значит, Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище окончили?

- Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище, товарищ комбат. Оно теперь еще ордена Ленина. Второе ЛОЛКАУ.

Нет, он не похож на Никольского, и все же что-то общее в облике есть.

Мы идем с ним к плащ-палатке. Разведчики, вскочив, тянутся. За них можно не опасаться, службу знают. Это потому, что посторонний человек со мной. Что ж, мне приятно.

Я представляю разведчиков новому командиру взвода. Садимся на плащ-палатку. Он - с краешку, стесняясь и их и меня. Держится напряженно. Слишком резкая для него перемена. Недавно еще - училище, до этого - дом. Наверное, мама волновалась, когда поздно возвращался домой. И вдруг ссадили с машины на полдороге: вот твоя батарея, воюй. Так эти годы все мы вступали в самостоятельную жизнь. Еще хорошо, что попал он к нам во время наступления. Я попал в полк, когда отступали. Это было хуже.

- Где ж оно теперь, наше училище? Я его в Светловодске кончал.

- Оно и сейчас в Светловодске, товарищ комбат,- говорит он не очень уверенно, как бы опасаясь, что разглашает военную тайну.

Да, Светловодск. Река Светлая. Только отчего-то Светлая была тогда вся в нефти и пахла нефтью. И когда мы стирали в ней обмундирование (на все про все вместе с портянками полагался кусочек мыла в двадцать граммов!),

гимнастерки после были в нефтяных пятнах.

- Она и сейчас в нефти,- говорит младший лейтенант, почему-то обрадовавшись.

Как интересно, ничего не изменилось. Те же выходы в поле зимой в сорокаградусный мороз, когда замерзает смазка на орудиях, но командир батареи идет впереди в легких хромовых сапожках. И курсанты, которые прибыли в училище прямо со школьной скамьи, поражаются такой его нечеловеческой выносливости, не подозревая, что в сапогах у командира батареи шерстяные носки, пальцы обернуты газетой и еще две пары теплых портянок... Те же тактические занятия, похожие на войну, как игра. Мы прибыли в училище с фронта, многое уже повидали и во время тактических занятий, когда не видело начальство, старались перекурить.

Была еще в Светловодске река Мата - р. Мата, как она значилась на топографических картах. на этой речонке, в редких кустах, выбирали мы огневые позиции. И многие поколения курсантов до нас и после нас выбирали там огневые позиции. И наверно, кто-то и сейчас там выбирает их. И так же, как я когда-то, прибыл в часть младший лейтенант. Только отчего он такой молодой? Оттого, наверное, что много времени прошло с тех пор. И столько уже позади. И километров и друзей. Вот уже и плацдарм позади. Как это просто до войны говорилось: ни пяди своей земли не отдадим. Вот она, пядь нашей земли, и каково это - не отдать ее!

- Ну что ж, лейтенант, принимай взвод. Вот твои разведчики. Панченко, сразу говорю, забираю с собой. А больше никого из взвода не отдавай, а то и Саенко, последнего разведчика, заберут. Связисты придут сейчас, они связь сматывают. И командир отделения с ними. Радисты нам по штату положены. Нету ни одного. И рации нет. Придется тебе заводить. Да ты ешь виноград, а то сейчас подтянутся пушки - и двинем вперед. Это отсюда фронт далеко кажется. А ночью уже там будем. Ешь, пользуйся случаем, выбирать НП пошлю тебя.

Он говорит:

- Спасибо, товарищ комбат,- и вежливо берет одну ягодку.

Он все время поглядывает на мои штаны. Что такое? Я тоже смотрю и замечаю на штанине старую, засохшую кровь. На нее-то он и смотрит с волнением. А, черт, давно надо было отдать постирать. Ему это, конечно, все в героическом свете представляется.

Мимо - к фронту, к фронту! - мчатся грузовики с прицепленными сзади, подскакивающими на дутых шинах минометами. Солдаты, все молодые, хорошо обмундированные, сидят по бортам машин. Какую-то новую часть вводят в прорыв. А от фронта, по этой стороне дороги, между машинами и нами, гонят сквозь пыль пленных. Минометчики перегибаются через борта, чтобы разглядеть их, мы сидим, ждем. Уже видны лица. Бронзовые от жары и солнца. Пот течет с висков. Расстегнутые мокрые шеи. Идут толпой. Молодые, крепкие, невзрачные, в очках, высокие, маленькие. На одних лицах все погасила серая усталость, другие возбуждены, словно только что выхвачены из боя, на третьих - страх. Мундиры, кепки с длинными козырьками. Непокрытые головы, пропыленные, черноволосые, светловолосые, стриженные, лысые. Ноги в коротких сапогах шагают нестройно, вразнобой, частая. Пот, жара, пыль.

От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок. Под мышками темные круги до карманов. Глаза просят пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Немцы проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть.

- Спасибо, товарищ лейтенант,- говорит боец, напившись.- А то от жары голос потерял.

И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы насыпаем ему полную пилотку винограда. Он благодарит еще раз и убегает. А пленные все идут. Егоров смотрит на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит немцев.

Из толпы пленных кто-то кричит нам и подымает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом



месте среди дымчато-синих мундиров немцев видно зеленое обмундирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат: "Руманешты! Руманешты!"

-- Что им, медаль за это? - говорит Саенко.

Я тоже ничего не понимаю. Словно очнувшись, Егоров отрывает взгляд от пленных.

- Видите ли,- говорит он,- дело в том, что Румыния вышла из войны... По радио передавали.

Вот, оказывается, какие события творятся в мире! А над головами пленников еще несколько раз подымается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо.

Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает - делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает,- и несет консервы семейству молдаван.

Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему, а Васин, небольшой, коренастый, с выпуклой грудью, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно трясет головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти.

- Вот. Выменял.- И смеется.

На мальчонке короткая, с короткими рукавами, когда-то белая, а теперь грязная и разорванная на животе рубашонка. Короткие обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги с туго торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоляных волос,- они даже не блестят, такие пыльные. А лицо тонкое. И большие, как черные мокрые сливы, печальные глаза. Они чем-то напоминают мне глаза Парцвани.

Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет, я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Несмело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне. А я тем временем глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать.

Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колени, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем.

Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колени. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием.

*Январь 1959 г.*